

ХОСЕ ОРТЕГА И ГАССЕТ

Восстание масс



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

ВОССТАНИЕ МАСС

ХОСЕ ОРТЕГА И ГАССЕТ

Восстание масс

Перевод с испанского Евг. Нелединского



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1954

THE REVOLT OF MASSES

by

José Ortéga y Gasset

Copyright, 1954, by

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE

OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Хосé Ортега и Гассёт является, как и его соотечественник Мигель Унамуно, одним из интеллектуальных вождей современной Испании, которая, после длительного упадка, сейчас проявляет несомненные признаки духовного возрождения. Но этим значение Ортеги не ограничивается. Как мыслитель исключительно оригинальный и смелый, он завоевал себе авторитет и популярность во всем культурном мире — в Новом Свете не меньше, чем в Европе — и выдвинулся в первые ряды общепризнанных «властителей дум».

Ортега родился в Мадриде в 1883. Изучал философию в Германии — в Берлине и в Марбурге — и по возвращении в Испанию занял кафедру метафизики в Мадридском университете. Короткое время был членом парламента. Во время гражданской войны Ортега занял нейтральную позицию: он покинул Испанию, но не примкнул к красным. Париж, Аргентина, Португалия — вот этапы его странствий. После войны он вернулся в Мадрид и основал там «Институт Гуманизма» — свободную школу философских наук.

Философские взгляды Ортеги сложились не сразу, а претерпели целый ряд изменений. В основном, его философия опирается на историю; она, а не физика, является для него основной действительностью. По мнению Ортеги история для человека то же, что природа для растений и животных. История должна стать подлинной точной наукой и тогда она будет

играть роль «Нового Откровения». Основным трудом Ортеги в этой области является его «История как система».

Книга «Восстание масс» вышла в свет в 1930 г. Мысли, изложенные в ней, были частично высказаны Ортегой уже раньше — в очерке «Безвольная Испания» (1922), в статье «Массы» в журнале «Эль Соль» (1926) и в лекциях, читанных в Буэнос-Айресе в 1928 г. В настоящей книге задачей Ортеги было, по его словам, «собрать воедино и дополнить уже сказанное ранее, дабы создать органическую доктрину наиболее важной проблемы нашего времени». Этим объясняются некоторые повторения и отсутствие строгого плана в книге. Однако эти недостатки несущественны ввиду той цели, которую автор преследовал — «бросить вызов триумфаторам нашего века». Написанная с присущими Ортеге блеском, смелостью и темпераментом, книга эта производит впечатление революционного манифеста. Вначале кажется, что революция направлена против тех положений, которые в течение двух веков являлись устоями прогресса и легли в основу сегодняшних либеральных демократий. Но внимательный читатель скоро убеждается, что автор ставит проблему гораздо шире. Он вкладывает более глубокое содержание в общепринятые термины, и вся картина меняется до неузнаваемости. Избитые трафареты слетают, как маски, и перед нами предстает подлинный внутренний мир. Книга Ортеги напоминает нам древнюю, в наш век забытую, истину: в эпохи общенародных бедствий, национальных потрясений и поражений, надо искать причины не только во вне, в злой воле врагов и в случайностях судьбы, но и в самих себе, в собственных ошибках и заблуждениях. Роль пророков всегда сводилась к тому, чтобы обратить внимание народа на его собствен-

ные «грехи», искать спасения изнутри, путем сознания и признания собственных заблуждений и освобождения от них.

Ортега строит свой мир, свою философию без упоминания о Боге; и однако его духовный мир по существу религиозен и его книга носит пророческий характер. Подобно древним пророкам, он обличает язвы нашего времени, разоблачает миф «прогресса». Он разрушает материалистическое миропонимание, показывая, что ни техника, ни материальный прогресс сами по себе не являются благом, что они могут явиться и злом, в зависимости от духовного состояния мира, от целенаправленности человеческой воли. И он показывает дурное направление этой воли в настоящее время. Без обычных проповеднических приемов, без морализирования, без эсхатологии, без мистических ужасов, просто, трезво и мужественно, — он говорит о грозящей миру опасности, скрытой в в воле и сердце рядового человека.

Ортега не пессимист, он верит в человека, верит в возможность избежать катастрофы, так пугавшей Шпенглера. Выход из кризиса намечен им лишь в общих контурах, но главное направление проложено твердо. Ортега призывает всех бороться с психологией «самодовольного молодого человека», элементы которой почти каждый может обнаружить в самом себе. Он пишет аргентинским студентам:

«Я хотел бы видеть в нашей молодежи стремление к внутренней дисциплине. Но я вижу обратное: поспешное стремление реформировать всё внешнее — мир, общество, государство и т. д., не произведя предварительно реформы внутреннего мира».

Ортега призывает элиту вернуться к своим знаменам, к своему долгу. Подлинный аристократ должен быть подвижником; образ пушкинского «бедно-

го рыцаря» невольно приходит в голову при чтении этой книги. При этом Ортега, конечно, не реакционер, не реставратор. Он весь в будущем, но это будущее должно органически вытекать из прошлого. «Разрыв с прошлым, — писал он в 1942 г., — производит то, что мы сейчас переживаем: впадение человечества в варварство».

Несмотря на 25 лет, истекших со дня появления книги, она сейчас актуальна еще больше, чем в момент выхода ее в свет, так как ее тезисы подтверждены всем последующим, в особенности явлениями гитлеризма и сталинизма. В 1930 г. диагноз и предсказания Ортеги могли быть сочтены плодом больной фантазии. Сейчас они в точности отвечают страшной действительности.

«Восстание масс» выдержало в Испании 13 изданий и давно переведено на все европейские языки. Пора и русскому читателю познакомиться с ним.

Евг. Нелединский

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В моей книге «Расслабленная Испания», вышедшей в 1921 г., я посвятил главу под названием «Массы» той самой теме, к которой я возвращаюсь в настоящей книге. Сейчас моей задачей является дополнить сказанное мною тогда и развить его в органическую доктрину, охватывающую и вскрывающую эту наиболее жгучую проблему нашего времени.

I. ФАКТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

В современной общественной жизни Европы есть один факт исключительного значения. Этот факт — переход всей власти в обществе к массам. Так как массы по самой природе своей не могут и не смеют управлять даже своей собственной судьбой — не говоря уже о целом обществе — то из сказанного следует, что Европа переживает сейчас самый тяжелый кризис, какой только может постигнуть нации, государства и культуры. Такие кризисы уже не раз бывали в истории и их признаки и последствия известны. Имя их также известно — это восстание масс.

Для понимания этого грозного явления нужно с самого начала условиться в терминологии. Такие слова, как «восстание», «массы», «общественная власть» и т. под. мы не должны понимать в узко политическом смысле. Общественная жизнь далеко не исчерпывается политикой; она имеет также — и даже прежде политики — другие аспекты: интеллектуальный, моральный, экономический, религиозный и др.; она охватывает все наши общие привычки, вплоть до моды на одежду и развлечения.

Быть может, мы лучше всего уясним себе это историческое явление, если начнем с одного внешнего факта нашей эпохи, который явно бросается всем в глаза. Его легко констатировать, но не так-то легко его анализировать; я буду называть это явление «скоплением» или «перепополнением».

Сегодня наши города переполнены людьми: дома — жильцами, отели — приезжими, поезда — пас-

сажирами, кафе — посетителями, парки — гуляющими, приемные знаменитых врачей — пациентами, театры — зрителями, курорты — летними гостями. То, что раньше было так просто — найти себе место, теперь становится вечной проблемой.

Вот и всё. Может ли быть в нашей повседневной жизни что-нибудь более простое, знакомое, обычное? Однако, попробуем углубиться в этот «простой факт» и мы будем поражены: подобно лучу света, проходящему через призму, этот факт даст нам целый спектр неожиданных открытий и заключений.

Что мы видим вокруг, что нас так поражает? Мы видим, что толпа, как таковая, завладела и пользуется всеми просторами и всеми благами цивилизации. Но наш рассудок нас немедленно успокаивает: ну что ж тут такого? Разве это не идеал? Ведь театр на то и построен, чтобы места были заняты и зал наполнен. И то же самое с домами, отелями и железной дорогой. Итак, в чем же дело?

Верно, не сомневаюсь. Но дело в том, что раньше все эти заведения не были переполнены, как сейчас. Как бы этот факт ни был сам по себе логичен и естествен, но мы должны констатировать перемену, нововведение, и это оправдывает, по крайней мере в первый момент, наше изумление.

Изумление — первый шаг к пониманию. Здесь сфера интеллектуала, его спорт, его утеха. Для него свойственно смотреть на мир в изумлении, широко раскрытыми глазами. Всё в мире кажется странным и чудесным для широко раскрытых глаз. Способность удивляться не дана любителям футбола, но интеллектуалу она позволяет жить всегда в экстазе и видениях; его отличительный признак — расширенные глаза. Быть может, потому-то древние и дали

Минерве сову, что у той всегда широко раскрытые удивленные глаза?

Перепополнение, скопление людей было раньше редким явлением. Почему же теперь оно стало обычным?

Оно возникло не случайно. Пятнадцать лет тому назад — в 1914 г. — общая численность населения была почти та же, что и сейчас. После войны она, казалось бы, должна была уменьшиться. Но здесь как раз мы приходим к первому важному пункту. Индивиды, составляющие массы, существовали и раньше, но не как масса. Разбросанные по свету в одиночку или мелкими группами, они вели жизнь раздельную, уединенную. Каждый из них занимал свое место — в деревне, в городе, в столице.

Теперь внезапно они появляются как скопления, как массы, и куда ни взглянешь, всюду видишь толпы. Повсюду? О, нет: как раз в лучших местах, в наиболее изысканных уголках нашей культуры, ранее доступных только для избранных, для меньшинства.

Массы внезапно стали видимыми, они расположились на местах, ранее излюбленных и занимаемых «обществом». Они существовали и раньше, но оставались незаметными, занимая задний план социальной сцены; теперь они вышли на авансцену, к самой рампе, на места главных действующих лиц. Герои исчезли, остался лишь хор.

Толпа есть понятие количественное и видимое. Выражая ее в терминах социологии, мы приходим к понятию социальной массы. Всякое общество есть динамическое единство двух факторов — меньшинств и массы. Меньшинства это личности или группы личностей особой, специальной квалифика-

ции. Масса — это интеграл людей без особой квалификации. Это совсем не то же самое, что рабочие массы, пролетариат. Масса — это средний, заурядный человек. Таким образом то, что раньше воспринималось, как количество, множество, теперь предстает перед нами, как качество; оно становится общим социальным признаком человека без индивидуальности, ничем не отличающегося от других людей, представляющего собой безличный «общий тип».

Что мы выиграли от этого перехода количества в качество? Очень просто: изучив «тип», мы сможем понять происхождение и природу массы. Ясно, что нормальное, естественное возникновение массы предполагает общность вкусов, интересов, стиля жизни у составляющих ее индивидов. Могут возразить, что это верно в отношении каждой социальной группы, даже самой изысканной. Правильно, но тут есть существенная разница: в тех группах, которые не являются массой, активная сплоченность членов группы основана на таких вкусах, идеях, идеалах, которые исключают массовое распространение. Для образования любого меньшинства необходимо прежде всего, чтобы члены его отталкивались от большинства по специальным, личным мотивам. Это — главное. Их согласованность внутри своей группы является вторичным фактором, результатом их общего отталкивания. Это так сказать согласованность в несогласии. Есть случаи, когда этот «персоналистический» характер группы явно выражен; например: английские группы, назвавшие себя «нонконформистами», то есть «несогласными», которых связывает только их несогласие с большинством. Это объединение меньшинства именно с целью отделения своего от большинства является необходимой предпосылкой при создании каждого меньшинства.

Строго говоря, принадлежность к массе является

чисто психологическим признаком и вовсе не обязательно, чтобы субъект физически принадлежал к массе. О каждом отдельном человеке можно сказать — принадлежит он к массе или нет. Человек массы — это тот, кто не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от всех, — хорошего или дурного, — кто чувствует, что он — «точь в точь, как все остальные» и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все. Представим себе скромного человека, который пытается определить свою ценность на разных поприщах, испытывает свои способности там и тут, и, наконец, приходит к заключению, что у него нет таланта ни к чему. Такой человек будет чувствовать себя посредственностью, но никогда не почувствует себя членом «массы».

Когда заходит речь об «избранном меньшинстве», то обычно лицемеры сознательно искажают смысл этого выражения, притворяясь, будто они не знают, что «избранный» — вовсе не надутая особа, которая считает себя выше остальных, но человек, который к себе самому требовательней, чем к другим, даже если он лично и не способен удовлетворить этим высоким требованиям. Несомненно, что самым глубоким и радикальным делением человечества на группы было бы различие их по двум основным типам: тех, кто строги и требовательны к себе самим (строгие «подвижники»), и берут на себя труд и долг, и тех, кто снисходителен к себе, доволен собой, кто живет без усилий, не стараясь себя исправить и улучшить, кто плывет по течению.

Это напоминает мне правоверный буддизм, который состоит из двух различных религий: одной, более строгой и трудной, и другой, легкой и неглубокой: Махаяна — «великий путь» и Хинаяна — «ма-

лый путь». Решающим является направление нашей жизни на тот или иной путь — жизнь с высокими требованиями или с минимальными.

Таким образом, деление общества на массы и избранное меньшинство является не делением на социальные классы, но на типы людей; это совсем не то, что иерархическое различие «высших» и «низших» классов. Конечно, среди «высших» классов, — поскольку такие действительно существуют — гораздо больше вероятия встретить людей «великого пути», тогда как «низшие» классы обычно состоят из индивидов менее квалифицированных. Но, строго говоря, в обоих этих социальных классах можно найти как «массу», так и настоящее «избранное меньшинство». Как мы увидим далее, вульгарный, массовый тип преобладает даже в традиционных избранных группах — и в этом знамение нашего времени.

Так в интеллектуальной жизни, которая по самой сути своей требует и предполагает высокую квалификацию, можно наблюдать всё большее проникновение псевдо-интеллектуалов — людей неквалифицированных, не могущих быть квалифицированными и дисквалифицированными за их духовные «качества». То же самое наблюдается среди уцелевших групп нашей «знати», как мужчин, так и женщин. И наоборот: среди рабочих, которые раньше считались типичной «массой», сегодня нередко встречаются характеры исключительных качеств.

Итак, формулируем: есть в нашем обществе операции, профессии, функции разного рода, которые по самой природе своей требуют для выполнения их специальных качеств, дарований, талантов. Например: государственное управление, судопроизводство, искусство, политика. Раньше каждый специальный род деятельности выполнялся квалифицированным

меньшинством. Масса не претендовала на участие; она знала, что для этого ей нехватало квалификации; если бы она эту квалификацию имела, она не была бы массой. Масса знала свою роль в нормальной динамике социальных сил.

Если теперь мы обратимся к фактам, отмеченным вначале, то мы несомненно должны будем признать, что они возвещают нам полную перемену в поведении масс. Все они показывают, что массы решили двинуться на авансцену социальной жизни, занять там места, использовать достижения техники и наслаждаться всем тем, что раньше было предоставлено лишь немногим. Ясно, что сейчас всё переполнено — ведь места не предназначались для масс; а толпы всё прибывают. Всё это свидетельствует наглядно и убедительно о новом явлении: масса, не переставая быть массой, захватывает место меньшинства, вытесняет его.

Никто, я уверен, не будет протестовать против того, что сегодня люди развлекаются в большей мере, чем раньше, поскольку у них есть к тому желание и средства. Но опасность в том, что решимость масс овладеть тем, что раньше было достоянием меньшинства, не ограничивается областью развлечений, но является генеральной линией, знаменем времени. Поэтому я полагаю — предвосхищая то, что мы увидим далее, — что политические события последних лет означают ничто иное, как политическое господство масс. Старая демократия была расслаблена значительной дозой либерализма и преклонением перед законом. Служение этим принципам обязывает человека к строгой самодисциплине. Под защитой либеральных принципов и правовых норм меньшинства могли жить и действовать. Демократия и закон — были нераздельны. Сегодня же мы присутствуем при

триумфе супердемократии, когда массы действуют непосредственно, помимо закона, навязывая всему обществу свою волю и свои вкусы при помощи материального давления.

Было бы неверно объяснять новое поведение масс тем, что им надоела политика и что они готовы предоставить ведение ее специальным лицам. Именно так было раньше, при либеральной демократии. Тогда массы полагали, что, в конце концов, профессиональные политики, при всех их недостатках и ошибках, всё же лучше разбираются в общественных проблемах, чем они, массы. Теперь же, наоборот, массы считают, что они вправе пустить в ход свои «идеи», рожденные в «их» кафэ, и обратить их в государственные законы. Я сомневаюсь, чтобы в истории нашлась еще эпоха, когда массы господствовали так явно, прямо и непосредственно, как сегодня. Поэтому я и называю нашу эпоху «супердемократией».

То же самое происходит и в других областях жизни, особенно в интеллектуальной. Быть может, я ошибаюсь, но мне представляется такая картина: писатель берет перо, чтобы писать на тему, которую он долго и основательно изучал. Но он знает, что его рядовой читатель, ничего в этой теме не смыслящий, будет читать его статью не с тем, чтобы почерпнуть из нее что-нибудь, но, наоборот, с тем, чтобы сурово осудить писателя, если он говорит что-либо иное, чем то, чем набита голова этого читателя. Если бы люди, составляющие массу, считали себя особо одаренными, то это был бы лишь случай частного ослепления, но вовсе не социальный сдвиг. Но для настоящего момента характерно то, что вульгарные, мещанские души, сознающие свою посредственность, имеют смелость заявлять свое право быть вульгарным и они заявляют это право повсюду. Так, например, в

Соединенных Штатах Америки царит обычное, хотя неписаное, правило: «надо быть, как все; выделяться неприлично!» Кто выглядит не так, «как все», кто думает не так, «как все», тот подвергается риску стать изгоем, лишенцем. Однако ясно, что эти «все» — в действительности еще далеко не все. Все без ка-вычек — это сложное единство однородной массы и неоднородных меньшинств. Но сегодняшние «все» — это только масса.

II. ПОДЪЕМ ИСТОРИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Таков громадный сдвиг нашего времени, изображенный мною, во всей его угрожающей неприглядности. Это явление еще небывалое на всем протяжении новой истории. Если мы хотим найти что-либо подобное, мы должны отойти от нашей эпохи, углубиться в мир, в корне отличный от нашего, обратиться к древности, к античному миру в период его упадка. История Римской Империи есть в сущности история ее гибели, история восстания и господства масс, которые поглотили и уничтожили ведущее меньшинство, чтобы самим занять его место. В ту эпоху наблюдалось то же явление скопления масс и переполнения ими всех общественных мест. Этим объясняются — как правильно заметил Шпенглер — и колоссальные постройки римлян, точь в точь, как в наши дни. Эпоха масс есть эпоха массивного.*)

Мы живем сейчас под грубым господством масс. Я уже дважды употребил это слово — грубый; я заплатил дань вульгарности и теперь, с билетом в руке, я могу войти в мою тему и посмотреть, что делается внутри.

Иначе читатель мог бы подумать, что я намерен ограничиться лишь описанием, хотя и верным, но поверхностным; дать только внешние черты, оболочку, под которой этот поразительный факт скры-

*) Трагическим элементом в этом процессе было то, что одновременно с переполнением центра шло обезлюдение, запустение окраин, приведшие к роковому концу Империю.

вается, когда на него смотрят с точки зрения прошлого. Если бы мне пришлось здесь прервать мое исследование, то читатель с полным правом мог бы подумать, что это чудесное появление масс на поверхности истории вызывает у меня лишь раздраженные и презрительные слова, смесь ненависти и отвращения. Это у меня, который известен, как сторонник радикально-аристократического понимания истории!?

Радикального, ибо я никогда не утверждал, что человеческое общество должно быть аристократично, я имел ввиду гораздо больше. Я утверждал — и с каждым днем все больше убеждаюсь в этом, — что человеческое общество по самой сущности своей всегда аристократично — хочет оно этого или нет — вплоть до того, что оно лишь постольку является обществом, поскольку оно аристократично, и перестает быть обществом, когда оно перестает быть аристократичным. Конечно, я имею ввиду при этом общество, а не государство. Не может быть и речи о том, чтобы в ответ на это бурное кипение масс ограничиться «аристократической» презрительной гримасой на подобие утонченного кавалера Версальского двора. Версаль — я имею ввиду Версаль презрительных гримас — не аристократия, а как раз наоборот: он — смерть и тление великолепной некогда аристократии. Поэтому единственным подлинно аристократичным у этих «аристократов» была та достойная грация, с какой они умели класть свои головы под нож гильотины; они принимали его, как гнойный нарыв принимает ланцет хирурга.

Нет! В ком живо ощущение высокого призвания аристократии, того зрелище масс должно возбуждать и воспламенять подобно тому, как девственный мрамор возбуждает скульптора. Социальная аристокра-

тия вовсе не похожа на ту жалкую группу, которая присваивает себе одной право называться «обществом» и жизнь которой сводится к взаимным приглашениям и визитам. Так как всё на свете имеет свои достоинства и свое назначение, то и этот миниатюрный «элегантный свет» имеет свои; но его «миссия» — очень скромная и не может даже быть сравниваема с исполинской миссией подлинной аристократии. Я бы не прочь обсудить значение «элегантного мира», но сейчас моя тема несравненно важнее. Конечно, это «избранное общество» идет в ногу с эпохой. Одна молодая дама, элегантная и вполне «современная», сказала мне: «Я не выношу балов, где приглашенных меньше, чем восемьсот человек!» В этой фразе я почувствовал, что «массовый стиль» торжествует во всех сферах современной жизни и накладывает свою печать даже на те укромные уголки, которые предназначены лишь для немногих «избранных».

Поэтому я одинаково отвергаю как то восприятие нашей эпохи, которое не замечает положительного смысла, скрытого в сегодняшнем господстве масс, так и то, которое радостно приветствует это господство без всякого страха и трепета. Каждая судьба драматична и даже трагична в своих глубинах. Кто никогда не ощущал тайного страха при созерцании опасности своей эпохи, тот значит так и не нашел доступа к недрам судьбы, он только прикасался к ее покровам. В нашу эпоху этот элемент страха внесен бурным, всесокрушающим переворотом в душах масс, властным, упрямым и двусмысленным, как всякая судьба. Куда она влечет нас? К гибели? Или, может быть, к благу? Этот космический вопросительный знак осеняет всю нашу эпоху, гигантский по величине и двусмысленный по форме: не то гильотина или, может быть, виселица; не то триумфальная арка...

Явление, которое нам предстоит исследовать, имеет две стороны, два сопряженных аспекта:

1) массы выполняют сейчас те самые общественные функции, которые раньше были предоставлены исключительно избранным меньшинствам; 2) и в то же время массы перестали быть послушными этим самым меньшинствам: они не повинуются им, не следуют за ними, не уважают их, а, наоборот, отстраняют и вытесняют их.

Рассмотрим первый аспект. Я хочу сказать, что сейчас массам доступны удовольствия, приборы и инструменты, созданные отборными группами (меньшинствами) и ранее предоставленные только этим группам. Массы усвоили вкусы и привычки, раньше считавшиеся изысканными, ибо они были достоянием немногих. Вот типичный пример: в 1820 г. во всем Париже не было и десяти ванн в частных домах (Мемуары графини де-Буань). Но теперь массы спокойно пользуются тем, что было раньше доступно лишь богатым. И это не только в области материальной, но, что гораздо важнее, также и в области правовой и социальной. В 18-м веке некоторые группы меньшинств сделали открытие, что каждый человек уже в силу рождения обладает известными основными политическими правами, так называемыми «правами Человека и Гражданина», и что, строго говоря, эти права, общие для всех, являются единственными. Все остальные права, основанные на особых дарованиях, подверглись осуждению, как привилегии. Сперва это было лишь теорией, мнением немногих; затем эти немногие стали применять эту идею на практике, внушать ее и настаивать на ней. Тем не менее, в течение всего 19 века массы, хотя постепенно становились поборниками этих прав, как идеала, однако не ощущали их как права, но пользо-

вались ими и не старались об их утверждении; фактически под демократическим правлением люди по-прежнему чувствовали себя, как при старом режиме. «Народу» — как он был назван — внушали, что он «суверен», но он не верил этому. Теперь этот идеал превратился в реальность: не только в законодательстве, которое является остоном общественной жизни, но и в сердце каждого гражданина, каковы бы ни были его идеи, пусть даже реакционные; стало быть, даже у тех, кто бранит и нападает на те учреждения, которые закрепили за ним его права. Мне кажется, что тот, кто не осознал этого странного морального положения масс, не может понять ничего из того, что сейчас происходит в мире. Суверенитет не к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о индивида, человека, как такового, теперь вышел из стадии отвлеченной правовой идеи или идеала и укоренился в сознании заурядного человека. Заметим кстати: когда то, что было раньше идеалом, становится действительностью, оно неизбежно теряет ореол идеала. Ореол и магический блеск — эти атрибуты идеала, мающие человека — исчезают. Уравнение в правах — эта благородная идея демократии — выродилась на практике в удовлетворение appetitов и подсознательных вождений.

Уравнение людей в правах имело целью вырвать человеческие души из внутреннего рабства и внедрить в них чувства собственного достоинства и независимости. Разве не к тому стремились, чтобы средний человек почувствовал себя господином, хозяином своей жизни? И вот это исполнилось. Почему же сейчас жалуются все те, кто 30 лет назад были либералами, демократами, прогрессистами? Или, подобно детям, они заявляли желания, не считаясь с последствиями? Вы хотели, чтобы средний, заурядный человек превратился в господина. Так нечего удивляться, что он

сейчас распоясался, что он требует развлечений, что он решительно заявляет свою волю, что он отказывается кому-либо помогать или служить, никого не хочет слушаться, что он полон забот о себе самом, своих развлечениях, своих костюмах: ведь все эти черты характерны для психологии господина. И вот теперь мы их находим воплощенными в заурядном человеке, в массе.

Итак, мы видим, что сегодня жизнь заурядного человека построена по той самой программе, которая раньше была характерна лишь для господствующих меньшинств. Сегодня заурядный человек занимает ту арену, на которой во все эпохи разыгрывалась история человечества; этот средний человек для истории то же, что уровень океана для географии. Поэтому, если средний уровень нынешней жизни достиг высоты, которая ранее была доступна только аристократии, то это значит, что уровень жизни поднялся. После долгой подземной подготовки он поднялся внезапно, одним скачком, в течение одного поколения. Человеческая жизнь в целом поднялась. Сегодняшний солдат, можно сказать, — почти офицер. Наша армия состоит сплошь из офицеров. Можно подивиться энергии, решительности, непринужденности, с которой каждый сегодня шагает в жизни, хватая от нее всё, что успеет, и добивается своего.

Всё хорошее и всё плохое современности и ближайшего будущего коренится в этом повышении исторического уровня.

Но здесь перед нами встает нечто небывалое, не имеющее прецедента. Тот факт, что сегодняшний стандарт жизни соответствует былому стандарту привилегированных меньшинств — новинка для Европы, но для Америки это привычно, это входит в ее конституцию. Возьмем для примера идею равенства пе-

ред законом. То психологическое ощущение себя, как господина своей судьбы и равного всем остальным, которое в Европе было знакомо только привилегированным группам, в Америке уже с 18 века (то есть, практически говоря, всегда) было естественным порядком вещей. И еще одно совпадение, еще более поразительное: когда эта новая психология заурядного человека зародилась в Европе, когда уровень жизни стал возрастать, то весь стиль европейской жизни, во всех ее проявлениях, начал меняться и появилась фраза: «Европа начинает американизироваться». Те, что говорили это, не придавали своим словам большого значения; они думали, что идет несущественное изменение обычаев и манер, мод и, обманутые внешними признаками, приписывали все изменения влиянию Америки на Европу. Этим они, по моему мнению, упрощали и снижали проблему, которая несравненно глубже, сложнее и чревата неожиданностями.

Галантность здесь побуждает меня сказать нашим братьям по ту сторону океана, что действительно Европа начинает американизироваться и что это — влияние Америки на Европу. Но я не могу этого сказать. Истина вступает в конфликт с галантностью и побеждает. Европа не «американизовалась»; она не испытывала большого влияния со стороны Америки. Быть может, оба эти процесса начинаются как раз сейчас; но их не было в прошлом и не они вызвали нынешнее положение. На эту тему существует масса вздорных идей, смущающих и сбивающих с толку как американцев, так и европейцев. Триумф масс и последующий блистательный подъем жизненного уровня произошли в Европе в силу внутренних причин, в результате двух столетий массового просвещения и прогресса, одновременно также и экономического подъема общества. Но вышло так, что

результаты европейского процесса совпадают с наиболее яркими чертами американской жизни; и это сходство типичных черт заурядного человека в Европе и в Америке привело к тому, что европеец впервые смог понять американскую жизнь, которая до этого была для него загадкой и тайной. Таким образом, дело не во влиянии (это было бы даже несколько странным), а в более неожиданном явлении — нивелировке, выравнивании. Для европейцев всегда было непонятно и неприятно, что стандарт жизни в Америке выше, чем в Европе. Это было интуицией, сильно ощущаемой, хотя и не анализируемой, и отсюда родилась идея, охотно принимаемая на веру и никогда не оспариваемая, что будущее принадлежит Америке. Вполне понятно, что такая идея, широко распространенная и глубоко укорененная, не могла родиться из ничего, без причины. Этой причиной и был факт, что в Америке разница между уровнем жизни масс и уровнем жизни избранных меньшинств гораздо меньше, чем в Европе. А история, как и агрикультура, черпает свое богатство в долинах, а не на горных вершинах, ее питает средний слой общества, а не выдающиеся личности.

Мы живем в эпоху всеобщей нивелировки; происходит выравнивание богатств, прав, культуры, классов, полов. Подобным же образом происходит выравнивание континентов. И так как средний уровень жизни в Европе был ниже, то от этой нивелировки она может только выиграть. Следовательно с этой точки зрения восстание масс означает огромный рост жизненных возможностей; то есть прямо обратное тому, что мы слышим так часто о «закате Европы». Это выражение топорно и при том неясно, что собственно имеется в виду: государства Европы, культура ее или же то, что лежит глубже, в основании всего и что

бесконечно важнее всего остального — жизненная сила Европы?

О государствах и о культуре Европы мы скажем еще позже, хотя быть может достаточно и того, что уже сказано; что касается истощения жизненной силы, то нужно с самого начала разъяснить, что дело идет о грубой ошибке. Быть может, если я займусь ею немедленно, то мои утверждения покажутся более убедительными или менее неправдоподобными. Итак я утверждаю, что сегодня средний итальянец, испанец или немец менее разнятся в жизненной силе от янки, или аргентинца, чем это было 30 лет назад. И этого факта американцы не должны забывать.

III. УРОВЕНЬ ЭПОХИ

Итак, господство масс имеет и положительную сторону: оно способствует подъему исторического уровня и показывает наглядно, что наш средний уровень жизни сегодня выше, чем был вчера. Этот факт убеждает нас в том, что жизнь может протекать на разных высотах и что выражение «уровень эпохи» — часто употребляемое бессознательно — полно глубокого смысла. Мы должны задержаться на этом пункте, так как он дает нам возможность установить одну из наиболее поразительных черт нашего века.

Принято говорить, например, что то или иное явление не стоит на высоте своей эпохи. Здесь не имеется в виду, конечно, абстрактное время хронологии, которое не имеет ступеней; но переживаемое время, которое каждое поколение называет «наше время», может сегодня быть на высшем уровне, чем вчера, или держаться на том же самом, или снижаться. Идея падения, заключенная в слове «декадент», вытекает именно из этого представления о разных уровнях времени. Каждый человек ощущает более или менее ясно соотношение между его личной жизнью и уровнем его века. Некоторые чувствуют себя в современных условиях как потерпевшие кораблекрушение, которые не могут удержаться на поверхности моря. Быстрый темп сегодняшней жизни, сила и энергия, необходимые для нее, пугают человека старого склада и причиняют боль; и его страх и боль выражают собою разницу между биением его пульса и пульса нашего времени. С другой стороны тот, кто

легко и с удовольствием воспринимает все формы сегодняшней жизни, тот ясно сознает соотношение между уровнем нашего века и предшествующих эпох. Каково это соотношение?

Было бы заблуждением предполагать, что человек одной эпохи непременно считает все прошлые эпохи за низшие по уровню — только потому, что они прошлые. Достаточно вспомнить изречение Хорхе Манрике: «Все прошлые времена были лучше». Но оба обобщения неверны. Не каждая эпоха чувствовала себя ниже предыдущих и не каждая считала себя выше их. Каждый исторический период выявляет иное, свое особое, ощущение «жизненного уровня», этого странного, неуловимого явления. Удивительно, что мыслители и историки никогда не обращали внимания на такой очевидный и существенный факт.

В общем, мнение Хорхе Манрике является мнением большинства. Большая часть исторических эпох не считала себя в числе лучших; наоборот, обычно вспоминались «доброе старое время», «золотой век» — Греция или Рим, или Альчеринга австралийских дикарей. Это показывает, что такие люди чувствовали, что пульс их жизни неполный, дефективный. Поэтому они смотрели с почтением на прошлое, на «классические» эпохи, чья жизнь им казалась полнее, богаче, совершеннее и напряженнее, чем их собственная. Глядя назад и видя там эпохи более совершенные, они чувствовали не превосходство свое, а, наоборот, свое падение, подобное падению температуры в термометре.

Начиная со 150 г. по Р. Х. это ощущение убывающей жизни, снижения уровня, упадка и утраты пульса всё возрастало в Римской Империи. Двести лет спустя во всей Империи уже не хватало мужчин, рожденных в Италии, для замещения должности центуриона, и приходилось нанимать сперва далматинцев,

позднее варваров с Дуная и Рейна. В то же время женщины становились бесплодны и Италия обезлюдела.

Обратимся теперь к другому типу эпох, жизненное ощущение которых было прямо обратным предыдущему. Здесь перед нами крайне интересное явление и для нас очень важно найти ему точное определение. Когда на пороге 20-го века политики критиковали перед толпой ошибки и эксцессы правительства, то они обычно мотивировали это тем, что эти меры «недопустимы в наш век прогресса». Любопытное совпадение: ту же форму мы находим в знаменитом письме Траяна Плинию, где император рекомендует не преследовать христиан по анонимным доносам: “*Nec nostri saeculi est*” (не подобает нашему времени). Значит, в истории были эпохи, которые чувствовали себя достигшими полной, окончательной высоты; были времена, когда люди верили, что они подходят к концу долгого странствия, к достижению заветной цели, к исполнению древних чаяний. Это — «исполнение времен», полная зрелость исторической жизни.

И действительно, в начале 20-го века европеец верил, что человеческая жизнь, наконец, стала тем, чем она должна быть, тем, к чему издавна стремились все прошлые поколения, тем, чем она отныне будет навсегда. «Эпохи исполнения» всегда ощущают себя как конечный результат многих подготовительных этапов, предыдущих эпох, не достигших полноты, низших по развитию, над которыми «эпоха исполнения» доминирует. Этой эпохе с ее высоты кажется, что все эти подготовительные периоды были полны лишь мечтами и неосуществимыми иллюзиями, неудовлетворенными желаниями, нетерпеливыми предтечами, полными болезненных контрастов между конечным стремлением и несовершенной действитель-

ностью. Так 19-й век смотрел на средневековье. И, наконец, наступает день, когда эта давнишняя, многовековая мечта повидимому осуществляется: действительность принимает ее и подчиняется ей. Мы достигли, наконец, высот, маячивших перед нами, цели, к которой мы стремились, вершины всех времен. Горестное «еще нет» сменяется торжествующим «наконец-то!»

Так воспринимали свою эпоху поколение наших отцов и весь 19-й век. Итак, не забудем, что нашему времени предшествовала эпоха «исполнения времени». Отсюда неизбежно следует, что человек, принадлежащий к этому старому миру, глядящий на всё глазами 19-го века, будет страдать оптической иллюзией: ему наш век будет казаться упадком, декадансом. Но тот, кто посвятил себя изучению истории, кто научился различать пульс эпохи, тот не поддастся оптической иллюзии и не поверит в мнимую «полноту времени» прошлого века.

Как я уже сказал, для наступления «полноты времени» необходимо, чтобы древняя заветная мечта была пронесена через ряд веков, наполненных жадными, мучительными и страстными исканиями; наконец, в один прекрасный день она достигнута, и тогда настает удовлетворение, эпоха «исполнения времен». И в действительности такая эпоха полна чувством самоудовлетворения; иногда, как в XIX веке, даже более того — чувством самодовольства*).

Но сейчас мы начинаем понимать, что эти эпохи самоудовлетворения — снаружи такие гладкие и блестящие — внутренне мертвы. Подлинная полнота жизни — не в покое удовлетворенности, а в процессе дости-

*) Характерны надписи на монетах императора Адриана: Счастливая Италия, Золотой Век, Счастливая эра, *Tellus stabili*.

ж е н и я , в м о м е н т е п р и б ы т и я . Как сказал Сервантес, «путь всегда лучше, чем отдых». Когда эпоха удовлетворяет все свои желания, свои идеалы, это значит, что желаний уже больше нет, что источник желаний иссяк. Значит эпоха пресловутой удовлетворенности в действительности есть начало конца. Есть эпохи, которые не умеют обновить свои желания и они умирают, как счастливые трутни после брачного полета*).

Здесь объяснение того странного факта, что в эти эпохи так называемого «исполнения чаяний» в глубине сознания всегда ощущается невыразимый осадок меланхолии.

Цели и стремления, которые так долго вызревали и, наконец, в 19 веке были, казалось, осуществлены, получили название «новейшей культуры». Уже самое имя это вызывает сомнения: эпоха сама себя называет новейшей, то есть окончательной, заключительной, перед которой все остальное — лишь предшественники, скромная подготовка, попытки, стрелы, не долетевшие до цели.

Не подходим ли мы здесь к самой сущности различия между нашей эпохой и предшествующей, только что отошедшей в прошлое? Ведь наше время, действительно, не считает себя за что-то окончательное; в глубине нашего сознания мы находим, хотя и смутно, интуитивное подозрение, что таких совершенных, законченных, на веки кристаллизованных эпох вообще не бывает; что наоборот: претензия какой-то «новейшей культуры» на законченность и совершенство — является заблуждением, навязчивой идеей, которая свидетельствует о невероятном сужении зрительного поля. И в результате этой мысли у нас возника-

*) См. изумительные страницы Гегеля о периодах самоудовлетворенности в его «Философии истории».

ет сладостное ощущение огромного облегчения, как будто из замурованного склепа мы выбрались снова на свободу, под звездное небо, в наш живой мир, неизмеримый, страшный, непредвидимый и неисчерпаемый, где всё, всё возможно — как хорошее, так и плохое.

Вера в культуру 19-го века была унылой верой. Она твердила, что завтра будет в основном все то же, что и сегодня, что прогресс состоит только в движении вперед, раз навсегда по одной и той же дороге, такой же, как уже пройденная нами. Такая дорога подобна эластической тюрьме — она растягивается, но не выпускает нас.

Когда в ранний период Римской Империи какой-нибудь образованный провинциал, например Лукан или Сенека, прибывал в Рим и видел величественные здания, воздвигнутые Империей — символ совершенного могущества, — то у него сжималось сердце: уже ничего нового не может произойти на свете. Рим вечен. Есть меланхолия, исходящая от руин, как запах тления от стоячих вод. В Риме чуткий провинциал ощущал меланхолию не менее остро, но обратного смысла: меланхолию вечности.

По сравнению с таким настроением не напоминает ли наша эпоха шаловливую резвость детей, убежавших из школы? Сегодня мы ничего уже не знаем о том, что будет в нашем мире завтра и это нас втайне радует, ибо непредвидимое, непроглядный горизонт, таящий в себе все возможности — вот настоящая жизнь, вот истинная полнота жизни!

Этот диагноз, который, конечно, имеет свою обратную сторону, стоит в противоречии с толками об упадке, излюбленной темой многих современных авторов. Толки эти основаны на оптическом обмане, имеющем много причин. Позже мы рассмотрим некоторые из них. Сейчас я хочу остановиться на од-

ной, самой очевидной. Ошибка в том, что, следуя определенной идеологии — на мой взгляд неверной — из всей истории принимают во внимание только политику и культуру, упуская из виду, что это только поверхность истории; что историческая реальность коренится в более древнем и глубоком пласте — в биологической витальности, в жизненной силе, подобной космическим силам; это не сама космическая сила, как таковая, не природная, но родственная той, что колышет море, оплодотворяет зверя, покрывает дерево цветами, зажигает звезды.

Взамен диагнозов упадка я предлагаю следующий анализ: понятие «упадка» построено, конечно, на сравнении. Падают из высшего в низшее положение. Хорошо; но это сравнение можно вести с самых различных точек зрения. Для фабриканта янтарных мундштуков жизнь в упадке, когда люди мало курят из янтарных мундштуков. Другие подходы могут быть серьезнее но, строго говоря, они все будут так же односторонни, произвольны и поверхностны в своем отношении к самой жизни, ценность и уровень которой мы хотим определить. Есть только один правильный и естественный подход: войти самому в нутро жизни, наблюдать ее изнутри, и следить: чувствует она сама себя в упадке, то есть слабеет, вянет, идет вниз, или нет?

Но если даже наблюдать жизнь изнутри, как узнать: что чувствует сама жизнь, упадок или нет? Для меня несомненно решающим является следующий симптом: эпоха, которая настоящее время предпочитает всему прошлому, никак не может считаться упадочной. К этому и был весь мой экскурс на тему об «уровне эпохи». И он говорит нам, что наше время в этом вопросе занимает весьма странную позицию, небывалую еще в истории.

В салонах прошлого века дамы и их придворные поэты неизменно задавали друг другу вопрос: «В какую эпоху вы хотели бы жить?» И вот каждый начинал блуждать по путям истории в поисках эпохи, которая наиболее отвечала бы его личности. Почему? Потому что 19-й век, хотя и считал себя эпохой наиболее совершенной из всех, однако в действительности он был тесно связан со всем прошлым, на плечах которого он представлял себя стоящим; он чувствовал себя подлинной кульминацией, завершением всего прошлого. Поэтому 19-й век еще верил в классические периоды, век Перикла, Ренессанс, когда были созданы те ценности, какими он сам теперь пользовался. Этого одного было бы достаточно, чтобы внушить нам недоверие к этим периодам «исполнения»: они обращены лицом назад, в прошлое, которое они, по их мнению, завершают.

Ну, хорошо. А каков был бы откровенный ответ представителя нашего века на подобный вопрос? Я думаю, что в этом не может быть никакого сомнения: всякая прошлая эпоха, без исключения, оказалась бы ему тесной камерой, в которой он не мог бы дышать. Это значит, что современное человечество чувствует, что его жизнь — в большей степени жизнь, чем любая прошлая; или наоборот: для современного человечества всё прошлое сделалось слишком малым. Это жизнеощущение современных людей своей категорической ясностью опрокидывает все измышления об упадке, как непродуманные и поверхностные.

В наше время жизнь имеет — и ощущает в себе — больший размах, чем когда бы то ни было. Как же она могла бы чувствовать себя на ущербе? Наоборот: именно потому, что она чувствует себя сильнее, «живее» всех предыдущих эпох, она потеряла

всякое уважение, всякое внимание к прошлому. Таким образом, мы впервые встречаем в истории эпоху, которая начисто отказывается от всякого наследства, которая не признает никаких образцов и норм, оставленных нам прошлым, которая, являясь преемницей многовековой непрерывной эволюции, тем не менее, представляется нам как увертюра, как утренняя заря, как детство. Мы оглядываемся назад, и прославленный Ренессанс начинает казаться нам узким, провинциальным, напыщенным и — будем откровенны — банальным.

Несколько времени тому назад я резюмировал положение в следующих словах: «Этот решительный разрыв настоящего с прошлым является общей характеристикой нашей эпохи. Он таит в себе подозрение, более или менее смутное, которое вызывает смятение, столь характерное для сегодняшней жизни. Мы чувствуем, что мы как-то внезапно остались одни на земле; что мертвые не только оставили нас, но исчезли совсем, навсегда; что они уже больше не могут помогать нам. Все остатки традиционного духа исчезли. Образцы, нормы, стандарты больше нам не служат. Мы обречены разрешать наши проблемы без активного содействия прошлого, будь это в области искусства, науки или политики. Европейец стоит одиноко, без единой живой души около себя; подобно Петру Шлемилю, он потерял свою тень. Это всегда случается в полдень»^{*)}).

Итак, коротко, каков же уровень нашей эпохи? Это не «полнота времен»; и тем не менее наша эпоха чувствует себя выше всех предыдущих эпох, включая и эпохи «полноты». Нелегко формулировать мнение нашей эпохи о самой себе: она верит, что она

^{*)} «Дегуманизация искусства».

больше всех других, но ощущает себя как начало; и в то же время не уверена, что это не агония. Как формулировать наше впечатление? Может быть, так: выше всех предыдущих эпох, ниже самой себя; сильна бесспорно, и в то же время неуверена в своей судьбе; горда своей силой и одновременно сама боится ее.

IV. РОСТ ЖИЗНИ

Господство масс, повышение уровня и возвещающая им высота эпохи являются в свою очередь лишь симптомами более общего явления. Это явление почти абсурдно и невероятно, несмотря на свою самоочевидность. Дело в том, что наш мир как-то внезапно разросся, увеличился, а вместе с ним расширился и наш жизненный кругозор. В последнее время наш кругозор охватывает весь земной шар; каждый индивидум, каждый средний человек принимает участие в жизни всей планеты. Год тому назад жители Севильи могли проследить по газетам, час за часом, то, что происходило с группой людей на Северном полюсе; ледяные горы как бы появились среди раскаленных полей Андалузии. Каждый клочок земли уже больше не изолирован в своих геометрических пределах, но взаимодействует с другими частями планеты. Согласно закону физики, гласящему, что вещи находятся там, где они действуют, мы можем сегодня каждой точке земного шара приписать вездесущие. Эта близость дали, это присутствие отсутствующего расширили до фантастических размеров горизонт каждого отдельного человека.

Мир вырос также и во времени. Предистория и археология открыли нам исторические области невероятной давности. Целые цивилизации и империи, о существовании которых мы до сих пор и не подозревали, включены в наш духовный мир, как новые континенты. Иллюстрированные журналы и фильмы не-

медленно демонстрируют эти вновь открытые недосыгаемые миры широкой публике.

Но этот пространственно-временный рост мира сам по себе еще ничего не значит. Пространство и время — в физическом смысле — это абсолютно бездушные категории космоса. Поэтому тот культ скорости, которым охвачено наше поколение, имеет больше смысла и оснований, чем это кажется на первый взгляд. Скорость — эта функция времени и пространства — сама по себе так же бездушна, как и эти категории; но она служит к преодолению их. Абстракция может быть побеждена только другой абстракцией. Победа над космическим временем и пространством — которые сами по себе абсолютно не имеют смысла — является вопросом чести для современного человечества*). И нет ничего странного в том, что мы испытываем детскую радость, развивая такую скорость, которая пожирает пространство и душит время. Уничтожая их, мы даем им жизнь, мы заставляем их служить жизненному процессу: мы можем посетить больше мест, пережить больше приездов и отъездов, мы можем вместить больше космического времени в меньший отрезок нашего жизненного времени.

Но в конечном счете, по существу, рост мира состоит не в увеличении его размеров, а в его обогащении внутренним содержанием: он вмещает в себе больше вещей. Вещь — в самом широком смысле слова — есть нечто, доступное нам, нечто, что мы можем желать, намереваться, сделать, уничтожить, найти, потерять, принять, отвергнуть — всё слова, означающие жизненные процессы.

*) Именно потому, что жизнь человеческая ограничена во времени, что человек смертен, — он должен преодолевать пространство и время (удаленность — потеря времени). Для бессмертного существа автомобиль теряет свой смысл.

Возьмем любой род нашей деятельности, хотя бы покупки. Представим себе двух людей, одного — нашего современника, другого — 18 века, обладающих одинаковой покупательной способностью (учитывая разницу валют), и сравним их возможности — выбор предметов. Разница колоссальная. Наш современник имеет практически неограниченные возможности. Трудно себе представить вещь, которой он не мог бы получить. И наоборот: нельзя себе представить покупателя, способного купить всё, что выставлено на продажу. Могут возразить, что при равных средствах оба покупателя получают одно и то же. Это неверно. Сегодня машинное производство значительно удешевило все изделия. Но даже если бы и так, то это не опровергает, а скорее подтверждает мою мысль.

Акт покупки завершается в тот момент, когда покупатель остановился на одном предмете; но до этого момента происходит выбор, который начинается с того, что покупатель знакомится с теми возможностями, какие предлагает рынок. Из этого следует, что наша «жизнь» при акте покупки сводится главным образом к переживанию представляющихся возможностей. Когда говорят о нашей жизни, то обычно забывают то, что мне кажется наиболее существенным, а именно: что жизнь наша в каждый момент состоит прежде всего в сознании наших возможностей. Если бы в каждый момент перед нами была лишь одна возможность, то это была бы уже не «возможность», а просто необходимость. Однако вторая возможность всегда есть; как это ни странно, но в нашей жизни всегда есть варианты, которые дают нам возможность сделать выбор*). Жить — это зна-

*) В худшем случае, когда мир не предлагает вам второго выхода, он у вас всё же остается в запасе — уйти из этого мира.

чит пребывать в кругу определенных возможностей, «обстоятельств». Иначе говоря, это и есть «наш мир» в подлинном значении этого слова. «Мир» не есть нечто чуждое нам, вне нас лежащее; он неотделим от нас самих, он — наша собственная периферия, он — интеграл наших потенциальных возможностей. Мы можем реализовать, осуществить лишь ничтожную конкретную часть этих теоретических возможностей. Вот почему мир кажется нам столь громадным, а мы сами себе — столь ничтожными. Мир, то есть наша потенциальная жизнь, всегда неизмеримо больше, чем наша судьба, то есть наша действительная жизнь.

Я хочу теперь показать, насколько жизнь за последнее время возросла в своих потенциальных размерах. Пределы ее возможностей расширились невероятно. В области интеллектуальной появились новые пути мышления, новые проблемы, новые данные, новые науки, новые точки зрения. В то время, как в примитивном обществе занятия или профессии можно было пересчитать на пальцах: пастух, охотник, воин, колдун — список сегодняшних профессий возрос до бесконечности. То же и в области развлечений, хотя (и это важнее, чем кажется) репертуар развлечений не так обогатился, как другие области жизни. Тем не менее для горожан среднего класса — а представителями современной жизни являются именно города — возможности развлечений за последнее столетие возросли невероятно.

Но рост потенциальной жизни далеко не исчерпывается всем перечисленным. Жизнь возросла еще в одном смысле, более непосредственном и таинственном. Как известно, в области физического развития и спорта достижения нашего времени далеко оставляют за собою все рекорды прошлых времен. Дело не в отдельных рекордах; но их количество и постоянство, с каким они все улучшаются, вселяют в нас

убеждение, что в наше время сам человеческий организм является более совершенным, чем когда-либо прежде. Ибо нечто подобное наблюдается и в области науки. В самый короткий период времени наука раздвинула свой космический горизонт с невероятной силой. Физика Эйнштейна открывает такие перспективы, что рядом с ними старый мир Ньютона кажется крохотной клетушкой*). И эта экспансия стала возможной благодаря уточнению и совершенству научных методов. Физика Эйнштейна выросла из анализа бесконечно малых различий, которыми раньше пренебрегали ввиду их незначительности. Атом, еще вчера бывший мельчайшим пределом мира, сегодня превращается в целую планетную систему. Во всем этом меня сейчас занимает не совершенство нашей культуры, но рост наших личных физических сил, в этом проявляющийся. Не то важно, что физика Эйнштейна совершеннее, чем физика Ньютона, а то, что сам Эйнштейн, как человек, оказался способным на большую точность и свободу духа,**) чем человек Ньютон, точно так же, как сегодняшний чемпион бокса превосходит всех своих предшественников.

Кино и иллюстрированные журналы показывают заурядному зрителю отдаленные части планеты, только что освоенные человеком; газеты и разговоры зна-

*) Мир Ньютона был бесконечен, но эта бесконечность носила не конкретный, не материальный характер; это было просто обобщение, абстракция, бессодержательная утопия. Мир Эйнштейна конечен, но конкретен и наполнен во всех своих частях; следовательно он богаче содержанием и тем самым фактически большего размера.

**) Свобода духа, т. е. сила интеллекта, измеряется способностью расщеплять понятия, традиционно неразделимые. Процесс диссоциации гораздо труднее, чем процесс ассоциации, как показал Кёлер своими наблюдениями над интеллигентностью шимпанзе. Сегодня человеческий ум обладает такой способностью диссоциации, как никогда раньше.

комьят заурядного человека с завоеваниями человеческого интеллекта, воплощенными в изобретения, в технику, в те аппараты и чудеса, которые этот заурядный человек видит в витринах магазинов. Всё это создает в его мозгу впечатление фантастического всемогущества.

Я этим не хочу сказать, что сейчас человеческая жизнь лучше, чем когда-либо в прошлом. Я говорю не о качестве сегодняшней жизни, но лишь о количественном или потенциальном росте ее. Я хочу этим путем дать точное описание самосознания современного человека, тонус его жизни, характерной чертой которой является ощущение такой потенциальной силы и размаха, что в сравнении с этим все прошлые эпохи кажутся карликами.

Этот подробный анализ был необходим для того, чтобы опровергнуть те жалобы и вздохи по поводу мнимого упадка (в особенности упадка Запада), которые недавно вошли в моду. Я возвращаюсь к тому доводу, который я уже приводил, ибо он кажется мне самым простым и убедительным: бесполезно говорить об «упадке» вообще, не уточняя — что именно приходит в упадок и разлагается. Относится ли этот мрачный приговор ко всей нашей культуре? Но разве европейская культура приходит в упадок? Или может быть это лишь упадок национальных организаций Европы? Допустим, что так. Но можно ли тогда говорить об упадке Запада? Ни в коем случае, ведь тогда — это упадок относительный, частичный, захватывающий лишь второстепенные элементы истории — культуру и нации. Есть только один вид абсолютного упадка: убывание жизненной силы; и мы его всегда точно таким и ощущаем. Именно поэтому я так подробно остановился на том явлении, которое обычно упускается из виду, что каждая эпоха носит

в себе сознание или ощущение своего жизненного уровня.

Это и привело нас к понятию эпох «полноты» или «расцвета», какими себя ощущали некоторые эпохи в противоположность другим, которые, наоборот, чувствовали свое снижение, упадок по сравнению с прошлым «золотым веком». В заключение я констатировал тот очевидный факт, что характерными чертами нашего времени являются: его странная уверенность в том, что оно выше всех предыдущих эпох; его полное пренебрежение ко всему прошлому, непризнание классических и нормативных эпох и его ощущение себя, как начала новой жизни, превосходящей всё прежнее и независимой от прошлого.

Я сомневаюсь, чтобы можно было правильно понять наше время без твердого усвоения этих типичных черт его, ибо именно здесь вся суть проблемы. Если бы наш век ощущал себя как упадочную эпоху, то он считал бы прошлые века выше себя, он уважал бы их, восхищался ими, почитал бы принципы, ими исповедуемые. Он держался бы открыто и твердо старых идеалов, хотя сам и не смог бы их осуществить. Но на деле мы видим прямо обратное; наш век глубоко уверен в своих творческих способностях, но при этом он не знает — что ему творить? Хозяин всего мира, он не хозяин самому себе. Он чувствует растерянность среди своего изобилия. Обладая большими средствами, большими знаниями, большей техникой, чем все предыдущие эпохи, наш век ведет себя, как самый убогий из всех предыдущих; он пассивно плывет по течению.

Отсюда эта странная двойственность: всемогущества и неуверенности, уживающихся в душе нашего поколения. Оно напоминает нам Филиппа Орлеанского, регента Франции в детстве Людовика XV: он об-

ладал всеми талантами кроме одного — умения пользоваться ими.

В 19 веке многое казалось уже невозможным, как противоречащее прогрессу, так сильна была вера в прогресс. Но теперь уже снова всё становится возможным и мы готовы допустить в будущем и самое худшее: упадок, варварство, регресс.*) Такое ощущение, само по себе, не плохой симптом: это значит, что мы вновь вступаем в ту атмосферу риска и опасности, которая присуща всякой подлинной жизни; что мы вновь охвачены той тревогой неизвестности, и мучительной и сладостной, которая заставляет наше сердце сжиматься и трепетать. Мы привыкли избегать этого жуткого трепета, мы старались успокаивать себя, всеми средствами заглушать в себе предчувствие глубинной трагичности нашей судьбы. Сейчас — впервые за последние три века — мы вдруг растерянно сознаем свою полную неуверенность в завтрашнем дне. И это отрезвление благотворно для нас.

Кто относится к жизни серьезно и принимает на себя всю полноту ответственности, тому знакомо то сознание постоянной скрытой опасности, которое заставляет его быть всегда настороже. В римских легионах часовой должен был держать палец на губах, чтобы не задремать и сохранять бдительность. Этот жест может служить для нас символом: он как бы предписывает полное молчание в тишине ночи, чтобы быть в состоянии уловить малейший звук зарождающегося будущего. Безопасность эпох расцвета, как например 19-го века, это лишь оптический обман, иллюзия; она ведет к тому, что люди не заботятся о

*) Отсюда и рождаются теории упадка, заката. Не потому, чтобы мы чувствовали в себе упадок, а потому, что всё в будущем возможно, не исключая и заката.

будущем, предоставляя всё «механизму вселенной». Как прогрессивный либерализм, так и марксизм верят, что все их программы лучшего будущего осуществятся сами собой, автоматически, неминуемо, с астрономической точностью. Убаюкав свое сознание этой идеей, они выпустили из рук управление историей, забыли о бдительности, утратили гибкость и энергию. И вот жизнь ускользнула из их рук, стала непокорной, своевольной и несется, никем не управляемая, без руля, без твердого курса.

«Прогрессист», прикрывшись маской футуризма, не заботится о будущем: он уверен, что оно не таит в себе ни сюрпризов, ни тайн, ни существенных изменений, ни скачков в сторону; убежденный, что мир дальше пойдет по прямой, без поворотов, без возврата назад, «прогрессист» отмахивается всякую заботу о будущем и целиком погружен в «окончательное» настоящее. Н у ж н о л и удивляться, что сегодня в нашем мире нет для будущего ни планов, ни целей, ни идеалов? Никто не занимался их подготовкой. Это было дезертирством руководящего меньшинства от своего долга. И это бегство от своих знамен всегда сопутствует восстанию масс, всегда является его оборотной стороной.

Теперь нам пора вернуться к этой теме. После того, как мы подчеркнули благоприятную сторону господства масс, мы должны обратиться к другой его стороне, более опасной.

V. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ФАКТ

Это исследование является попыткой поставить диагноз нашей эпохи, нашей современной жизни. Мы изложили первую часть диагноза, которую можно резюмировать так: как запас возможностей, наша эпоха великолепна, изобильна, превосходит всё, известное нам в истории. Но именно благодаря своему размаху, она опрокинула все заставы: принципы, нормы и идеалы, установленные традицией. Наша жизнь — более живая, напряженная, насыщенная, чем все предыдущие, и тем самым более проблематичная. Она не может ориентироваться на прошлое, она должна создать себе собственную судьбу.*)

Но теперь мы должны дополнить наш диагноз. Наша жизнь есть, прежде всего, то, чем мы можем стать, то есть возможная, потенциальная жизнь; и в то же время она есть выбор между возможностями, то есть решение в пользу той, которую мы выбираем и осуществляем на деле. Обстоятельства и решение — вот два основных элемента, из которых складывается жизнь. Обстоятельства, иначе говоря возможности, — это данная нам часть нашей жизни, независимая от нас; это то, что мы называем нашим миром. Жизнь не выбирает себе мира; она протекает в мире, уже установленном, незаменяемом. Наш мир — это элемент фатальной необходимости в нашей жизни. Но

*) Мы, однако, увидим, как можно взять из прошлого, если не позитивные указания, то хотя бы некоторые негативные советы. Прошлое не может сказать: что нам делать? Но оно может предупредить — чего нам не делать.

эта фатальность не механична, не абсолютна. Мы не выброшены в мир, как пуля из ружья, которая летит по точно предначертанной траектории. Совсем наоборот: выбрасывая нас в этот мир, судьба дает нам на выбор несколько траекторий и тем заставляет нас выбирать одну из них. Поразительное условие нашей жизни! Сама судьба принуждает нас к свободе, к свободному выбору и решению: чем нам стать в этом мире. Каждую минуту она заставляет нас принимать решения. Даже в том случае, когда в полном отчаянии мы говорим: будь, что будет! — даже и тут мы принимаем решение.

Итак, неверно, будто в жизни «все решают обстоятельства». Наоборот: обстоятельства — это дилемма, каждый раз новая, которую мы должны решать. И решает ее наш характер.

Всё сказанное приложимо также и к общественной жизни. Также и там дан прежде всего круг возможностей, а затем выбор и решение в пользу тех или иных форм общежития. Это решение зависит от характера общества или, что то же самое, от типа людей, в нем доминирующих. В наше время доминирует человек-массы, это он выносит решение. Это совсем не то, что было в эпоху демократии и всеобщего избирательного права. Там массы сами не решали; их роль была лишь в том, чтобы присоединиться к решению той или иной группы меньшинства. Эти группы представляли свои «программы» общественной жизни и массы приглашались лишь поддержать готовый проект.

Сейчас происходит нечто совсем иное. Наблюдая общественную жизнь в странах, где господство масс продвинулось далее всего — страны вокруг Средиземного моря, — мы с удивлением замечаем, что там политически живут сегодняшним днем. Факт в высшей степени странный! Общественная власть на-

ходится в руках представителя масс, которые настолько сильны, что подавляют всякую оппозицию. Их власть настолько исключительна, что трудно в истории найти пример такого всемогущества. И тем не менее правительство живет со дня на день. Оно не говорит ясно о будущем и его действия не производят впечатления начала новой эпохи, нового развития и эволюции. Короче, оно живет без жизненной программы, без плана. Оно не знает, куда оно идет, ибо, строго говоря, не имея ни намеченной цели, ни предначертанного пути, оно вообще никуда не идет. Когда это правительство выступает с заявлениями, оно, не упоминая о будущем, ограничивается лишь настоящим и откровенно признается: «Мы — лишь временное, не настоящее правительство, вызванное к жизни чрезвычайными обстоятельствами». Иными словами — нуждой сегодняшнего дня, но не планами будущего. Поэтому его деятельность сводится к тому, чтобы как-то увертываться от поминутных осложнений и конфликтов; проблемы не разрешаются, а лишь откладываются со дня на день, любыми средствами, даже с риском скопления их в ближайшее время в общий грозный конфликт.

Такою всегда была власть в обществе, управляемом непосредственно массой: всемогущая и эфемерная. Человеку массы не дано проектировать и планировать, он всегда плывет по течению. Поэтому он ничего не создает, как бы велики ни были его возможности и его власть.

Таков тип человека, который в наше время стоит у власти и решает. Займемся поэтому анализом его характера.

Ключ к этому анализу мы найдем, если мы вернемся к началу нашего исследования и поставим себе вопрос: откуда пришли те массы, которые наполняют и переполняют сейчас историческую сцену?

Несколько лет тому назад известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен был бы запомнить каждый, интересующийся современными событиями. Этот простой факт сам по себе достаточен, чтобы дать нам ясное представление о современной Европе; а если он и не достаточен, то всё же он указывает путь, который нам всё раскроет. Суть в следующем. За весь период европейской истории с 6-го века вплоть до 1800 г., то есть в течение 12 столетий, население Европы никогда не превышало 180 миллионов. Но с 1800 по 1914, то есть за одно с небольшим столетие, население Европы возросло со 180 на 460 миллионов! Сопоставление этих цифр не оставляет никакого сомнения в производительной силе прошлого столетия. В течение трех поколений оно массами производило человеческий материал, который, как поток, обрушился на поле истории, затопляя его. Этот факт достаточен для объяснения как триумфа масс, так и всего, что в нем выражается и возвещается. В то же время он подтверждает самым наглядным образом то повышение жизненного уровня, на которое я уже указывал.

Но одновременно этот факт показывает, насколько необосновано то восхищение, какое вызывает в нас расцвет новых стран, как США. Нас поражает рост их населения, которое в течение одного столетия достигло 100 миллионов, и мы не замечаем, что в действительности это было лишь результатом изумительной плодовитости Европы. Здесь я вижу еще один аргумент для опровержения басни об американизации Европы. Рост населения Америки, который считается наиболее характерной ее чертой, вовсе не является ее особенностью. Европа за прошлое столетие выросла гораздо больше, чем Америка, которая наполнилась за счет избытков населения Европы.

Хотя подсчет Зомбарта и не так известен, как он

заслуживает этого, но всё же факт необычайного роста населения Европы не является тайной и сам по себе не заслуживал бы упоминания. Дело собственно не в нем самом, а в головокружительной быстроте этого роста и в последствиях его: массы людей таким ускоренным темпом вливались на сцену истории, что у них не было времени, чтобы в достаточной мере приобщиться к традиционной культуре.

В действительности духовная структура современного среднего европейца гораздо здоровее и сильнее, чем человека предыдущих столетий. Она только гораздо проще и потому временами такой средний европеец производит впечатление примитивного человека, внезапно очутившегося среди старой цивилизации. Школы, которыми прошлое столетие так гордилось, успевали преподать массам только внешние формы, технику современной жизни; но дать им подлинное воспитание школы не могли. Их наспех научили пользоваться современными аппаратами и инструментами, но не дали им понятия о великих исторических задачах и обязанностях; их приучили гордиться мощностью современной техники, но им ничего не говорили о духе. И потому о духе массы не имеют и понятия; и вот новые поколения берут в свои руки господство над миром так, как если бы мир был первобытным раем без следов прошлого, без унаследованных сложных, традиционных проблем.

19-му веку принадлежит как слава, так и ответственность за то, что он выпустил широкие массы на арену истории. Этот факт является отправным пунктом для справедливого суждения об этом веке. Нечто необычное, исключительное должно было быть в нем заложено, если он был способен дать такой прирост человеческого материала. Было бы нелогично и произвольно давать предпочтение принципам прошлых эпох, пока мы не уяснили себе этого грандиозного

явления и не сделали из него выводов. Вся история в целом представляется нам, как гигантская лаборатория, где производятся всевозможные опыты для нахождения формулы общественной жизни, наиболее благоприятной для выращивания «человека». И вот, опрокидывая все мудрые теории, перед нами встает факт, что население Европы под действием двух факторов — либеральной демократии и «техники» — в течение одного лишь столетия утроилось!

Этот поразительный факт приводит нас по законам логики к следующим заключениям: 1) либеральная демократия, снабженная творческой техникой, представляет собою наивысшую из всех известных нам форм общественной жизни. 2) если эта форма и не является наилучшей из всех возможных, то каждая лучшая будет построена на тех же принципах. 3) возврат к каждой форме, низшей, чем форма 19-го века, был бы самоубийством.

Признав это со всей ясностью, необходимой по сути дела, мы должны теперь обратиться против 19 века. Если он в некоторых отношениях оказался исключительным и несравненным, то с другой стороны он столь же очевидно страдал некоторыми коренными пороками, т. к. он создал новую породу людей — мятежного «человека массы». И теперь эти восставшие массы угрожают тем самым принципам, которым они обязаны жизнью. Если эта порода людей будет продолжать хозяйничать в Европе, то через каких-нибудь 30 лет Европа вернется в состояние варварства. Наш правовой строй и вся наша техника исчезнут с лица земли с такой же легкостью, как и многие достижения былых веков и культур.*) Вся жизнь

*) Герман Вейль, один из крупнейших современных физиков, сотрудник и продолжатель дела Эйнштейна, как-то сказал, что если бы 10 или 12 из наших видных ученых внезапно умерло,

оскудеет и увянет. Сегодняшнее изобилие возможностей сменится всеобщим недостатком, бессилием; это будет подлинный упадок и закат. Ибо восстание масс есть именно то самое, что Вальтер Ратенау называл «вертикальным вторжением варварства».

Поэтому необходимо основательнее познакомиться с этим «человеком-массы», в котором кроются в потенции как высшее благо, так и высшее зло.

то почти наверно многие чудеса современной физики были бы навсегда утрачены для человечества. Работа многих столетий была необходима для того, чтобы приспособить наш мыслительный аппарат к абстрактной сложности теории физики. Каждая случайность может свести на нет все чудесные возможности человечества, которые являются к тому же базой и технической культуры.

VI. АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕКА-МАССЫ

Кто же этот «человек-массы», который пришел теперь к власти в общественной жизни как в политической, так и в не-политической? И почему он таков, как он есть, иначе говоря, как он произошел?

Попробуем дать общий ответ на оба вопроса, т. к. они тесно связаны друг с другом. Человек, который сегодня хочет руководить жизнью Европы, очень отличается от вождей 19-го века, порождением которого он сам является. Прозорливые умы уже в 1820, 1850 и 1880 годах при помощи простого априорного мышления сумели предвидеть серьезность нынешнего положения. «Массы двинулись вперед!» — заявил Гегель апокалиптическим тоном... «Без новой духовной силы наш век — век революций — придет к катастрофе!» — возвестил Огюст Конт... «Я вижу растущий прилив нигилизма», — крикнул с Энгадинской скалы Ницше...

Неверно, будто историю нельзя предвидеть. Бессчетное число раз она была предсказана. Если бы будущее не открывалось пророкам, то оно не могло бы быть понято ни в момент его осуществления, ни позже, когда оно стало уже прошлым. Мысль, что историк есть ничто иное, как обратная сторона пророка, проникает всю философию истории. Конечно, можно предвосхитить только общую схему будущего, но ведь по существу мы не больше того воспринимаем и в настоящем, и в прошлом. Чтобы видеть целую эпоху, надо смотреть издалека.

Какою представлялась жизнь тому человеку-массы, которого 19-й век производил всё в больших количествах? Прежде всего у него было ощущение общего материального улучшения. Никогда раньше средний человек не решал своих экономических проблем с такой легкостью. В то время, как наследственные богачи относительно беднели, а индустриальные рабочие обращались в пролетариев, люди среднего калибра, наоборот, с каждым днем расширяли свой экономический горизонт. Каждый день вносил что-то новое и обогащал его жизненный стандарт. С каждым днем его положение укреплялось, его независимость росла. То, что раньше считалось бы особой милостью судьбы и вызывало бы чувство умиленной благодарности, теперь рассматривалось, как полученное по праву, за которое не благодарят, но которого требуют.

С 1900 года и рабочие также начинают укреплять свое благосостояние. Тем не менее им приходится вести борьбу за свои права. Они не получают, подобно среднему человеку, всё готовым от общества и государства, чудесно организованных.

К этому облегчению жизни и к экономической обеспеченности присоединяются физические блага, комфорт, общественный порядок. Жизнь катится, как по рельсам, и нет опасений, что она будет нарушена каким-либо насилием или бедой.

Такая свободная, не стесненная жизнь неминуемо должна была вызвать в этих «средних» душах ощущение, которое можно выразить кратко словами старой испанской поговорки: «Широка наша Кастилья!» Это значит, что «новый человек» ощущал свою жизнь во всех отношениях, как освобождение от бремени, от всех помех и ограничений. Значение этого факта во всём его объеме будет нам вполне ясно, когда мы вспомним, что в про-

шлые времена такая свобода жизни была абсолютно недоступна для простых людей. Наоборот, для них жизнь была всегда тяжелым бременем, физически и экономически. С самого рождения эти люди были окружены запретами и препятствиями и им оставалось только одно — страдать, терпеть и приспособляться.

Но еще разительнее этот контраст в положении «средних людей» проявлялся в области правовой и моральной. Начиная со второй половины 19-го века, средний человек уже был свободен от социальных перегородок. Никто не принуждал его сдерживать, подавлять свою жизнь. Также и здесь — «Широка наша Кастилья»! Не существует больше ни каст, ни сословий. Не существует никаких правовых привилегий. Заурядный человек вдруг узнает, что все люди равны в своих правах.

Никогда еще на протяжении всей истории простой человек не жил в условиях, которые хотя бы отдаленно походили на нынешние условия его жизни. Мы действительно стоим перед радикальным изменением человеческой судьбы, произведенным 19-м веком. Создан совершенно новый фон, новое поприще для современного человека, новые физически и социально. Три фактора сделали возможным создание этого нового мира: либеральная демократия, экспериментальная наука и индустриализация. Второй и третий можно объединить под именем «техники». Ни один из этих факторов не был созданием 19-го века, они появились на два века раньше. 19-му веку принадлежит заслуга проведения их в жизнь. Это всеми признано. Но одного признания факта недостаточно, нужно учесть его неизбежные последствия.

19-й век был по существу революционным веком. Не потому, что он строил баррикады — это деталь, — а потому, что он поставил заурядного человека, то есть огромные социальные массы, в совер-

шенно новые жизненные условия, радикально противоположные прежним. Он перевернул всё их бытие. Революция заключается не столько в восстании против старого порядка, сколько в установлении нового, обратного прежнему. Поэтому не будет преувеличением сказать, что человек, порожденный 19-м веком, является по своему общественному положению совершенно новым человеком, отличным от всех прежних. Человек 18-го века, конечно, отличался от человека 17-го века, а тот, в свою очередь, от своего предка 16-го века; но все они схожи, однотипны, даже тождественны в основном по сравнению с этим новым человеком 19-го века. Для «простых» людей всех этих веков «жизнь» состояла главным образом из ограничений, обязанностей, зависимости, одним словом была тяжелым гнетом. Можно сказать «угнетением», понимая под этим не только правовое и социальное, но и «космическое» угнетение. Ибо это последнее всегда было налицо вплоть до последнего века, до того времени, когда началось безграничное распространение «научной техники» как в физике, так и в администрации. По сравнению с сегодняшним днем старый мир даже для богатых и сильных представлял собой лишь ряд ограничений, затруднений и опасностей.*)

Мир, окружающий нового человека со дня его рождения, ни в чем его не стесняет, ни к чему его не принуждает, не ставит ему никаких запретов, ника-

*) Как бы ни был богат и силен отдельный человек в сравнении с окружающими его людьми, но, поскольку весь мир был беден и убог, постольку и богатство и сила были мало использованы. В наши дни средний обыватель живет богаче и привольнее, чем жили владыки прошлых веков. Что за беда, что он не богаче других, если весь мир стал шире и богаче и дает ему всё: великолепные дороги, телеграф, отели, личную безопасность и аспирин?

ких «вето»; наоборот, он сам будит в нем аппетиты, вожделения, которые, теоретически, могут расти бесконечно. Ибо оказывается — и это крайне важно — что этот мир 19-го и начала 20-го века не только сегодня располагает изобилием и совершенством, но и внушает нам полную уверенность в том, что завтра он будет еще богаче, еще обильнее, еще совершеннее, как если бы он обладал внутренней неиссякаемой силой развития.

Еще сегодня — несмотря на некоторые трещины в этом оптимизме — почти никто не сомневается в том, что через пять лет автомобили будут еще лучше, еще дешевле. В это верят, как в то, что завтра снова взойдет солнце. Сравнение это совершенно точно: заурядный человек, видя вокруг себя этот технически и социально совершенный мир, верит, что его произвела таким сама природа и никогда ему не приходит в голову, что всё это создано личными усилиями гениальных людей. Еще меньше он подозревает о том, что без дальнейших усилий этих людей всё великолепное здание культуры рассыпется в самое короткое время.

Это позволяет нам подчеркнуть в психологической диаграмме человека-массы две основные черты: безудержный рост его жизненных вожделений, то есть его личности, и его принципиальную неблагодарность ко всему, что создало и обеспечило его благополучие. Обе эти черты характерны для хорошо нам знакомой психологии избалованных детей. Мы с успехом можем воспользоваться ею, как «прицелом» для рассмотрения души современного человека-массы.

Этот новый человек — наследник долгого периода развития общества, богатого идейно и продуктивного материально. Он избалован окружающим его миром. Баловать — значит исполнять все желания,

приучить к мысли, что всё позволено, что нет никаких запретов и никаких обязанностей. Объект такого режима не знает границ в своем поведении. Не испытывая от своего окружения никакого нажима, никаких толчков со стороны, он привыкает ощущать себя центром, единственно существующим в «его» мире; он привыкает не считаться с окружающими, в особенности он никого не признает за старшего или высшего. Такое признание чужого превосходства мог бы вызвать в нем лишь тот, кто сумел бы заставить его отказаться от своих капризов, кто смог бы укротить его, принудил бы его смириться. Тогда «капризный ребенок» усвоил бы основное правило дисциплины: «Здесь предел моей воли; здесь начинается воля другого, более сильного, чем я. Как видно, в свете я не один; и этот другой сильнее меня».

В прошлые времена рядовому человеку приходилось ежедневно получать такие уроки элементарной мудрости от окружающего мира, так как мир этот был организован так грубо и примитивно, что катастрофы были обычным явлением и не было в этом мире ни изобилия, ни прочности, ни безопасности. Но сегодняшние массы живут в мире изобилия, всяческих возможностей и безопасности; всё к их услугам, от них не требуется никаких усилий, подобно тому, как солнце само подымается над горизонтом без нашей помощи. Человек не должен благодарить других за воздух, которым он дышит, ибо воздуха никто не делал: он принадлежит к тем «естественным» элементам, которые существуют «сами по себе», всегда налицо. И теперь избалованные массы настолько наивны, что считают всю нашу материальную и социальную организацию — предоставленную в их пользование на подобие воздуха — того же происхождения, что и воздух, так как она всегда на месте и почти так же совершенна, как природа.

Итак, вот мой тезис:

19-й век создал совершенную организацию нашей жизни во многих ее отраслях. И это совершенство привело к тому, что массы, пользующиеся сейчас всеми благами этой организации, стали считать ее за нечто естественное, природное. Только так можно понять и объяснить абсурдное поведение этих масс: они целиком заняты собственным благополучием и в то же время они не замечают источников этого благополучия. Так как за готовыми благами цивилизации они не видят чудесных изобретений и конструкций, созданных человеческим гением ценою упорных усилий, то они воображают, что они вправе требовать себе все эти блага, как естественно им принадлежащие в силу их прирожденных прав. Во время голодных бунтов толпы народа, обычно, в поисках хлеба громят пекарни. Это может служить прообразом поведения нынешних масс (в более крупном масштабе и в более сложных формах) в отношении всей цивилизации, которая их питает. Предоставленная собственным инстинктам, масса, как таковая — плебеев или «аристократов» — в стремлении улучшить свою жизнь обычно сама разрушает источники своей жизни.

VII. БЛАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ И ВУЛЬГАРНАЯ ЖИЗНЬ ИЛИ ЭНЕРГИЯ И КОСНОСТЬ

Мы являемся прежде всего тем, что делает из нас окружающий нас мир; основные черты нашего характера формируются под влиянием впечатлений, получаемых извне. Это естественно, так как наша жизнь есть ничто иное, как наши взаимоотношения с окружающим миром. Лик мира, обращенный к нам, формирует в основных чертах нашу собственную жизнь. Вот почему я так подчеркиваю тот факт, что мир, в котором сегодняшние массы возникли и выросли, выглядит как нечто совершенно новое, еще небывалое в истории. В то время, как в прошлом для среднего человека жить значило непрерывно переживать трудности, опасности, нужду, ограничения, подчиненность — современный мир представляется среднему человеку, как мир неограниченных возможностей, безопасности, полной независимости. И душа современного человека формируется под влиянием этого впечатления, основного и постоянного, тогда как душа прежнего среднего человека формировалась под влиянием обратного впечатления. Это основное впечатление превращается во внутренний голос, который неотступно нашептывает какие-то слова в глубине нашего «я» и настойчиво подсказывает нам определение нашей жизни, которое становится нашей заповедью или директивой. И, если в прошлые века традиционное определение было: «жить — это значит чувствовать себя во всём ограниченным и потому считаться с тем, что нас ограничивает», то новый голос

вещает нам: «жить — это значит не встречать никаких ограничений; поэтому смело делать всё, что хочешь. Практически, нет ничего невозможного, нет ничего опасного, нет ни высших, ни низших».

Эта новая заповедь, основанная на ощущении, совершенно меняет традиционную, извечную структуру человека-массы. Раньше он находил естественными свои материальные ограничения и свою подчиненность власти имущим. Такова уж была в его глазах жизнь. Если ему удавалось улучшить свой быт, если он подымался по социальной лестнице, то он приписывал это счастью, которое ему улыбнулось. Или же это было его личной заслугой, которую он хорошо сознавал. В обоих случаях дело шло об исключении из общего закона жизни и всего мира, и оно было вызвано специальными причинами.

Но новая масса восприняла полную свободу жизни, как естественное, природное состояние, не вызванное какими-либо специальными причинами. Ничто извне не налагало на эту массу никаких ограничений и следовательно не было необходимости каждую минуту считаться с кем-то вокруг, в особенности с высшими инстанциями. До недавнего времени китайский крестьянин верил, что его благополучие зависит от личных добродетелей его императора. Поэтому его жизнь была в постоянном соотношении и подчинении этой высшей инстанции. Но человек, которого мы анализируем, не хочет считаться ни с какой внешней инстанцией или авторитетом. Он доволен собой таким, каков он есть. Совершенно искренне, без всякого хвастовства, как нечто вполне естественное, он будет одобрять и хвалить всё, чем он сам наделен: свои мнения, стремления, симпатии, вкусы. Почему бы и нет? Если, как мы видели, никто и ничто не заставляет его признать себя за человека второго

сорта, крайне ограниченного, неспособного ни к творчеству, ни даже к поддержанию той самой организации, которая дала ему полноту жизни и удовлетворенность.

Человек массы никогда не признает над собой чужого авторитета, пока обстоятельства его к этому не принудят. Поскольку обстоятельства его к этому не принуждают, этот стойкий человек, верный своей натуре, не ищет постороннего авторитета и чувствует себя полным хозяином положения. Наоборот, человек элиты, то есть выдающийся человек, всегда чувствует внутреннюю потребность обращаться вверх, к высшему авторитету или принципу, которому он свободно и добровольно служит.*) Напомним, что в начале этой книги мы установили различие между человеком элиты и человеком массы в следующей форме: первый предъявляет к себе строгие требования; второй — никаких требований, он всегда доволен собой, даже более того, восхищен собой.***) Вопреки обычному мнению, именно человек элиты, а вовсе не человек массы, проводит свою жизнь в служении. Жизнь не имеет для него интереса, если он не может посвятить ее служению чему-то высшему. Его служение является таким образом не внешним принуждением, не гнетом, а внутренней потребностью. Когда возможность служения исчезает, он ощущает беспокойство и ищет нового задания, более трудного, более сурового и ответственного. Это жизнь, подчиненная самодисциплине — достойная, благородная жизнь.

*) Вспомним прекрасную старо-русскую формулу: «иметь очи горе». (Примечание переводчика).

**) К массе духовно принадлежит тот, кто в каждом вопросе довольствуется готовой мыслью, уже сидящей в его голове. Наоборот, человек элиты не ценит готовых мнений, взятых без проверки, без труда, он ценит лишь то, что до сих пор было недоступно, что приходится добывать усилием.

Отличительная черта благородства — не права, не привилегии, а обязанности, требования к самому себе. *Noblesse oblige*. «Жить в свое удовольствие — удел плебея; благородный стремится к порядку и закону» (Гёте). Дворянские привилегии по своему происхождению являлись не пожалованиями, не милостями, а, наоборот, завоеваниями. Их признание объяснялось тем, что данное лицо всегда было способно в случае нужды собственной силой отстоять свою добычу от покушений. Таким образом, частные права или привилегии являются не пассивным правом собственности, но результатом собственных усилий владельца. И наоборот, общие права, как например «права человека и гражданина», являются пассивной собственностью, бесплатным правом, щедрым даром судьбы, который каждый получает без усилий. Поэтому я сказал бы, что личные права требуют личной поддержки, а безличные могут существовать и без нее.

К сожалению, богатое по смыслу слово «благородство» подверглось в обычной речи безжалостному искажению. Большинство стало понимать его, как наследственную, кровную аристократию; таким образом, оно превратилось в нечто пассивное, безличное, подобное «всеобщим правам», которые не требуют личных усилий и заслуг, но получают автоматически.

Однако, подлинный смысл слова: „*nobleza, noblesse, nobility*” — совсем иной, в нем динамика. *Noble, nobilis* — значит известный, знаменитый,*) то есть всем известный, возвышающийся над неизвестным, безыменными массами. Здесь подразумеваются личные усилия, заслужившие славу. Итак «благородный» значит заслуженный, выдающийся. Благород-

*) В русском языке: знать, знатные люди. (Примечание переводчика)

ство или слава сына является уже чистой милостью. Сын известен только тем, что его отец стяжал славу. Слава сына лишь отражение; и действительно наследственное благородство есть нечто отраженное, как лунный свет, память о мертвых. Единственно живое и динамичное в нем — это импульс, передаваемый потомку и побуждающий его к попытке сравняться с предком. Таким образом, и здесь — *noblesse oblige*, хотя и в несколько измененном аспекте: благородный предок обязывал себя добровольно, а его благородного потомка обязывала необходимость быть на высоте. Во всяком случае, в переходе благородства по наследству кроется известное противоречие. Китайцы поступают логичнее; у них обратный порядок наследования: не отец облагораживает сына, а сын, достигнув высоких почестей, облагораживает своих предков, свой род. При этом государство указывает число предыдущих поколений, облагороженных заслугами потомка. Таким образом, предки оживают благодаря заслугам живого человека, благородство которого в настоящем, а не в прошлом.*)

Латинское понятие «*nobilitas*» появилось только в эпоху Римской Империи и именно в противоположность старой наследственной аристократии, в то время уже вырождавшейся.

Итак, для меня «благородная жизнь» означает напряженную жизнь, всегда готовую к новым, высшим достижениям, переход от сущего к должному. Таким образом благородная жизнь противопоставляется обычной инертной жизни, которая статически замыкается сама в себе, осужденная на *perpetuum*

*) Моей целью является лишь вернуть слову “*noblesse*” его первоначальное значение, исключающее наследственность. Здесь не место для обследования вопроса о наследственной аристократии, «благородной крови», которая играет такую видную роль в истории.

mobile — вечное движение на одном месте — пока какая-нибудь внешняя сила не выведет ее из этого состояния. Вот почему я определяю людей второго типа как массу; не столько потому, что они — большинство, сколько потому, что они инертны, косны.

Чем дольше человек живет, тем яснее ему становится, что громадное большинство людей способно на усилие только в том случае, когда оно является необходимой реакцией на какую-то внешнюю силу. И потому-то одиноко стоящие исключения, которые способны на спонтанное, собственной волей рожденное усилие, запечатлеваются в нашей памяти навсегда. Это — избранники, элита, благородные люди, активные, а не только пассивные; для них жизнь — это вечное напряжение, непрерывная тренировка. Тренировка — это аскеза. Эти люди — аскеты.

Пусть читатель не удивляется этому отступлению. Чтобы дать определение этого нового человека-массы, который, оставаясь массой, хочет сейчас занять место элиты, необходимо было показать в чистом виде оба типа, в нем смешанные: нормального человека-массы и подлинного человека элиты или человека энергии.

Теперь мы можем быстрее продвигаться вперед: ключ к решению — психологическая формула господствующего в наши дни человека, — у нас в руках. Всё дальнейшее логически вытекает из основного положения, которое можно резюмировать так: 19-й век автоматически создал новый тип человека-массы, в котором заложены огромные вожеления, и которому сейчас предоставлен богатый набор средств для их удовлетворения во всех областях: экономика, медицина, право, техника и т. д., словом огромное количество прикладных наук и всяких возможностей, какие прежде среднему человеку не были доступны. Снабдив «человека-массы» всеми этими возможностями

ми, 19-й век предоставил его самому себе и тогда он, верный своей природной косности, замкнулся в себе самом. Таким образом, теперь мы имеем перед собой массы более сильные, чем когда-либо прежде, но отличающиеся от традиционного типа тем, что они герметически замкнуты в себе, самодовольны, самонадеянны, не желают никому и ничему подчиняться, одним словом — непокорные массы. Если так пойдет и дальше, то в скором времени не только в Европе, но и во всем мире окажется, что массами больше нельзя управлять ни в одной области. В бурные и тяжелые времена, стоящие перед нашим поколением, может случиться, что под суровыми ударами бедствий массы внезапно пойдут на уступки и подчинятся руководству квалифицированной элиты.

Но это окажется попыткой с негодными средствами. Ибо основные черты психики масс — это инертность, замкнутость в себе и упрямая неподатливость; массы от природы лишены способности постигать то, что находится вне их узкого круга — как людей, так и события. Они захотят иметь вождя — и не смогут следовать за ним; они захотят слушать — и тут убедятся, что они глухи.

С другой стороны, нельзя тешить себя иллюзиями, что человек массы окажется способным — как ни поднялся его уровень в наше время — взять в свои руки управление ходом всей нашей цивилизации (не говоря уже о прогрессе ее). Самый процесс поддержания современной цивилизации чрезвычайно сложен и требует бесчисленных знаний и опыта. Человек массы научился владеть механизмом цивилизации, но он абсолютно незнаком с основными принципами этой цивилизации.

Я снова подчеркиваю, что все приводимые мною факты и доводы не следует понимать в узко политическом смысле. Наоборот: хотя политическая дея-

тельность и является наиболее эффективной, показательной стороной нашей общественной жизни, однако она подчиняется и управляется другими факторами, более скрытыми и неощутимыми. Политическая тупость сама по себе не была бы опасна, если бы она не проистекала из тупости интеллектуальной и моральной, как более глубокой и решающей. Поэтому без анализа этой последней наше исследование не может быть ясным и убедительным.

VIII. ПОЧЕМУ МАССЫ ВО ВСЁ ВМЕШИВАЮТСЯ И ВСЕГДА С НАСИЛИЕМ?

Итак мы приходим к заключению, что произошло нечто крайне парадоксальное, хотя в сущности вполне естественное: в момент, когда весь мир и жизнь широко открылись для заурядного человека, душа его для них закрылась. И я утверждаю, что именно эта замкнутость души и составляет сущность того «восстания масс», в котором, в свою очередь, состоит сущность грандиозной проблемы, стоящей сейчас перед человечеством.

Я знаю, что многие мои читатели думают иначе. Это тоже вполне естественно и только подтверждает мою теорию. Ибо, даже если бы мое мнение, в конце концов, оказалось ошибочным, то все же остается неоспоримым факт, что многие из этих несогласных не задумались хотя бы на пять минут над таким сложным вопросом. Как же они могли бы думать то же, что я? Но, если они считают себя вправе иметь мнение о данной теме раньше, чем они потрудились ее продумать, то этим они показывают, что сами они принадлежат к тому типу людей, которых я называю «восставшей массой». Это как раз и есть замкнутые, закоснелые души. В данном случае мы имеем пример интеллектуальной косности. Человек обзавелся запасом готовых идей, вернее суждений. Он довольствуется ими и считает себя интеллектуально вполне вооруженным. Так как у него нет контакта с окружающим его миром, то он окончательно остается при своем мнении. Вот это и есть механизм самоизоляции, закоснелости.

Человек массы всегда считает себя совершенным. Человеку элиты это ощущение не свойственно. Он может считать себя совершенным только в том случае, если он исключительно тщеславен; но и тогда это ощущение, порожденное тщеславием, ему самому будет казаться фикцией, чем-то чуждым, несерьезным, самообманом. Такому человеку нужно еще, чтобы и посторонние люди подтвердили его собственное о себе мнение. Таким образом даже и в таком патологическом случае, даже ослепленный тщеславием, человек элиты не уверен в своем совершенстве. Наоборот, современный человек массы, этот новый Адам, — никогда не сомневается в своем совершенстве; его вера в самого себя поистине подобна райской вере Адама. Замкнутость его души лишает его возможности познать свое несовершенство, т. к. единственный путь к этому познанию — это сравнение себя с другими людьми; но это значило бы выйти на момент из самого себя и переселиться в своего ближнего. Увы! Душа заурядного человека неспособна на такой спорт.

Мы стоим здесь перед тем самым различием, которое испокон веков отделяет глупцов от мудрецов: умный знает, что попасть впросак очень легко и поэтому он всегда настороже и в этом его мудрость. Глупый, наоборот, не сомневается в себе; он считает себя хитрейшим из людей и отсюда-то завидное спокойствие, с каким он пребывает в своей глупости. Подобно тем насекомым, которых никак нельзя выкурить из их щелей, глупца нельзя высвободить от его глупости, вывести его хоть на минуту из его ослепления, заставить его сравнить свои убогие шаблоны со взглядами других людей. Глупость пожизненна и неизлечима. Вот почему Анатоль Франс сказал, что глупец гораздо хуже, чем плут: плут иногда отдыхает, глупец — никогда.

Но нет и речи о том, что человек массы глуп. Наоборот, сегодня он гораздо умнее, гораздо способнее, интеллигентнее, чем все его предки. Но эти способности ему не впрок: на деле сознание, что он ими обладает, заставляет его еще больше замкнуться в себе и не пользоваться ими. Он раз и навсегда усвоил набор общих мест, предрассудков, обрывков мыслей и пустых слов, случайно нагроможденных в его памяти, и с развязностью, которую можно оправдать только его наивностью, он пользуется этим мусором всегда и везде. Это то самое, что я назвал в первой главе «знамением нашего времени»: не в том беда, что заурядный человек считает себя незаурядным и даже выше других, а в том, что он провозглашает и утверждает право на заурядность и самое заурядность возводит в право.

Господствующее положение, которое духовный плебс занял сейчас в общественной жизни, является совершенно новым фактором в современной жизни, не имеющим себе подобия в прошлом. По крайней мере в европейской истории плебс никогда не воображал себя носителем какой-нибудь «идеи». У него были свои готовые верования, традиции, жизненный опыт, поговорки, ходячие мнения; но он не пускался в область теоретических исследований или обобщений, каких требует, например, политика или литература. Планы и действия политиков могли казаться ему хорошими или плохими, он мог поддерживать их или не поддерживать; не его реакция была пассивной, она ограничивалась отзвуком на творческую деятельность других кругов. Ему и в голову не приходило противопоставить идеям политиков свои собственные «идеи». То же и в области искусства и в прочих отраслях общественной жизни. Врожденное сознание своей ограниченности, некомпетентности в теоретическом мышлении удерживало его от этого. Поэтому плебс даже

и не мечтал о том, чтобы взять на себя решающую роль в какой-либо области общественной деятельности, так как она почти всегда основана на теории.

Но сейчас, наоборот, заурядный человек имеет самые определенные «идеи» обо всем, что в мире происходит и должно произойти. Поэтому он перестал слушать других. К чему слушать, если он и так уже всё что нужно, знает? Теперь уже нечего слушать, теперь надо самому судить, постановлять, решать. Нет такого вопроса общественной жизни, в который он не вмешался бы, навязывая свои мнения — он, который сам слеп и глух!

«Но, — скажут, — что же тут плохого? Разве это не свидетельствует об огромном прогрессе, если массы теперь имеют «идеи»? Ведь это значит, что они стали культурны?»

Ничего подобного! Эти «идеи» заурядного человека вовсе не настоящие идеи, и их наличие не свидетельствует о культуре. Идея — это шаг, объявляемый истине. Кто хочет иметь идеи, должен прежде всего стремиться к истине и усвоить правила игры, предписываемые истиной. Не может быть речи об идеях и мнениях там, где нет общепризнанной высшей инстанции, которая бы ими ведала, где нет системы руководящих норм, к которым можно было бы в споре апеллировать. Эти нормы составляют основу нашей культуры. Все равно какие; я лишь утверждаю, что там, где нет норм, которыми люди могли бы руководиться, там нет и культуры. Нет культуры там, где нет начал гражданской законности и не к кому апеллировать. Нет культуры там, где в решении споров игнорируются основные принципы разума.*) Нет

*) Кто в споре не старается держаться истины, не проявляет желания быть правдивым, тот интеллектуально варвар. Именно таково поведение человека-массы, когда ему приходится вести дискуссию, устную или письменную.

культуры там, где экономические отношения не подчинены регулирующему аппарату, к которому можно обратиться. Нет культуры там, где в эстетических диспутах всякое оправдание для произведения искусства объявляется излишним.

Когда все эти нормы, принципы и инстанции исчезают, то исчезает и сама культура и настает варварство в точном значении этого слова. И это новое варварство — не будем себя обманывать — появляется сейчас в Европе, как результат растущего восстания масс. Путешественник, прибывающий в варварскую страну, знает, что там уже не действуют все те правила и принципы, на которые он привык полагаться дома. Варвары не имеют норм в нашем понимании.

Степень культуры измеряется степенью развития норм. Где они мало развиты, там жизнь направляется только в общих чертах; где они развиты подробно, там они проникают во все детали и во все области жизни.

Каждый должен признать, что в Европе за последнее время замечаются странные явления. Как на конкретный пример, укажем на такие политические движения, как синдикализм и фашизм. Они кажутся странными не только потому, что они новы. Увлечение новинками всегда было свойственно европейцу, недаром он создал себе самую беспокойную историю. Нет, странность этих движений лежит в их стиле, в тех небывалых формах, какие они принимают. Под маркой синдикализма и фашизма в Европе впервые появляется тип человека, который не считает нужным оправдывать свои претензии и поступки, ни перед другими, ни даже перед самим собой; он просто показывает, что он решил любой ценой добиться своей цели. Вот это и есть то новое, небывалое: «право» действовать без всяких на то прав. В этом я вижу наиболее наглядное проявление нового по-

ведения масс, вытекающего из их решения — захватить руководство обществом в свои руки, хотя руководить им они и неспособны. В этом политическом поведении масс раскрылась в самом грубом, открытом виде вся структура их новой души; однако ключ ко всему был все же в духовной замкнутости их. Человек массы открыл в себе «идеи», «мысли»; однако он неспособен к идейному творчеству, к конструктивному мышлению. Он не имеет даже понятия о легком, чистом воздухе мира идей. Он желает иметь собственные «мнения», но не желает принять условия и предпосылки, необходимые для составления любого мнения. Поэтому все его «идеи» в действительности ничто иное, как его аппетиты, вожеления, облеченные в словесную форму.

Чтобы иметь или создать идею, надо прежде всего верить, что есть какие-то основания или условия для ее существования; следовательно верить в существование Разума, мира идей, отвлеченных истин. Иметь идеи, составлять мнения — это значит обращаться к высшей инстанции, подчиниться ей, признать ее кодекс и ее решения; это значит верить в то, что наивысшей формой общения является диалог, в котором обсуждаются основы наших идей. Но для человека массы принять дискуссию значит идти на верный провал и он инстинктивно отказывается признавать эту высшую объективную инстанцию. Отсюда модный в Европе лозунг: «покончить с дискуссиями!» и отказ от всяких форм духовного общения, предполагающих признание объективных норм, начиная с простого разговора и кончая парламентом и научными корпорациями. Это равносильно отказу от культурной общественной жизни, построенной на системе норм, и возврату к варварскому образу жизни. Это означает ликвидацию всех естественных жизненных процессов и переход к принудительному введе-

нию новых намеченных «порядков». Замкнутость массовой души, которая толкает массу на вмешательство во все общественные дела, неизбежно требует и единого метода вмешательства: прямого действия — *action directe*.

Со временем, когда история зарождения нашей эпохи будет восстановлена, историки отметят, что первые звуки ее своеобразной мелодии слышались около 1900 года среди групп французских синдикалистов и реалистов, изобретших метод и выражение «прямое действие». Человек во все времена прибегал к насилию; часто это бывало просто преступление и эти случаи нас не интересуют. Но иногда насилие было средством к защите правды и справедливости, к которому прибегали тогда, когда все остальные средства были исчерпаны. Очень жаль, что человеческая натура вынуждена прибегать в таких случаях к насилию; но с другой стороны нельзя отрицать, что это является наивысшей данью истине и справедливости. Ибо такая форма насилия есть не что иное, как жест отчаяния. Сила применяется буквально как *ultima ratio*. Это выражение употребляется почему-то большей частью в ироническом смысле, но оно хорошо выражает то предпочтение, которое всегда давалось доводам разума перед аргументом силы. Цивилизация есть не что иное, как попытка свести силу на роль *ultima ratio*. Теперь это становится нам совершенно ясным, так как «прямое действие» выворачивает этот термин наизнанку и провозглашает силу за *prima ratio*, за первый довод, то есть, в сущности говоря, за единственный довод. Это — норма, которая отменяет все остальные нормы, все промежуточные этапы между намечением цели и достижением ее. Это — Великая Хартия варварства.

Кстати будет напомнить, что во все эпохи, каждый раз, когда массы по тому или иному поводу вы-

ступали в общественной жизни, — это всегда было в форме «прямого действия». Таким образом «прямое действие» является типичным, вернее единственным методом действия масс. И основной тезис этой моей книги будет значительно подкреплён тем очевидным фактом, что именно теперь, когда захват массами власти в общественной жизни из случайного и спорадического факта обратился в «нормальное» явление, «прямое действие» появляется на сцене официально, в качестве признанной нормы, доктрины.

Вся наша общественная жизнь подпадает под этот новый режим, в котором все «не прямые» акции и инстанции подавлены. В общественной жизни упраздняется «хорошее воспитание». В литературе принцип «прямого действия» выражается в оскорблениях и угрозах. В отношениях между мужчиной и женщиной — в распущенности.

Нормы общежития, вежливость, взаимное уважение, справедливость, благожелательность! Кому все это нужно, зачем так усложнять жизнь?

Всё это заключается в одном слове: цивилизация, смысл которого раскрывается в его происхождении от *civis* — гражданин, член общества. Все перечисленное служит к тому, чтобы сделать жизнь города, то есть городской общины — иначе говоря, общественную жизнь — возможно более легкой и приятной. Поэтому, если мы задумаемся в перечисленные элементы цивилизации, то мы заметим, что все они имеют одну и ту же основу. Этой общей основой является спонтанное и всё растущее желание каждого гражданина считаться со всеми остальными. Цивилизация есть прежде всего добрая воля к совместной жизни. Человек, который не считается с другими, — не цивилизованный человек, а варвар. Варварство направлено к разложению общества. Все вар-

варские эпохи были периодами человеческого рассеяния, распада общества на мелкие группы, разобщенные и взаимно враждебные.

Политическая форма, проявляющая максимум воли к совместной жизни, к общественности, есть либеральная демократия. Она выказывает наибольшую готовность считаться с окружающими и может служить прототипом «непрямого действия». Либерализм — это тот политический правовой принцип, согласно которому общественная власть, несмотря на свое всемогущество, сама себя ограничивает и старается — даже в ущерб своим интересам — предоставить в государстве, которым она управляет, место также и тем, кто думает и чувствует иначе, чем она сама, то есть иначе, чем большинство. Либерализм — следует это напомнить сегодня — проявляет небывалое великодушие: свои права, права большинства, он добровольно делит с меньшинствами; это самый благородный жест, когда-либо виданный в истории. Либерализм провозглашает свое решение жить одной семьей с врагами, даже со слабыми врагами. Прямо невероятно, что человечество могло создать такой чудесный аппарат, такую парадоксальную, утонченную, замысловатую, неестественную систему. И нет ничего удивительного в том, что сейчас то же самое человечество готово от нее отказаться: опыт оказался слишком сложным и трудным, чтобы укорениться на нашей земле.

Жить одной жизнью с врагами! Править совместно с оппозицией! Не становится ли подобная мягкость непостижимой? Ничто не характеризует нашу эпоху так метко, как тот факт, что число государств, допускающих у себя оппозицию, резко уменьшается. Почти всюду однородная масса оказывает давление на правительство и подавляет, уничтожает все оп-

позиционные группы. Масса — кто бы мог подумать это, глядя на ее компактность и численность? — не желает терпеть рядом с собой тех, кто к ней не принадлежит. Она питает смертельную ненависть ко всему иному.

IX. ПРИМИТИВИЗМ И ТЕХНИКА

Я должен подчеркнуть, что мы заняты анализом эпохи — нашей эпохи, — которая по самой сущности своей является двусмысленной. Я уже в самом начале указал, что все черты нашего времени — и, в частности, восстание масс — предстают перед нами в двух аспектах. Каждая черта не только допускает, но и требует двойного толкования — благоприятного и неблагоприятного. Эта двойственность коренится не в нашей оценке, а в самой действительности. Не в том дело, что сегодняшнее положение может нам казаться хорошим с одной точки зрения и плохим с другой, а в том, что сама жизнь несет в себе две возможности: триумфа и гибели.

Я не хотел бы перегружать это исследование метафизикой истории. Но я, конечно, строю его на основе моей собственной философской концепции. Я не верю в абсолютный детерминизм истории. Наоборот, я верю, что всякая жизнь, а следовательно и историческая, состоит из отдельных моментов, каждый из которых относительно свободен — не предопределен строго предыдущим моментом; некоторое время он колеблется, как бы топчется на месте, как бы не зная, какой из возможных вариантов ему избрать. Вот это метафизическое колебание и придает всему живущему ни с чем несравнимый характер трепетной вибрации.

Восстание масс может предвещать переход к новой, еще неведомой, организации человечества; но оно может также привести к катастрофе челове-

чества. Нельзя, конечно, отрицать достигнутого прогресса, но нельзя также и считать его упроченным. Факты говорят нам, что никакой прогресс, никакая эволюция не прочны, они всегда под угрозой регресса, обратной эволюции. Всё, всё возможно в истории: как бесконечный триумфальный прогресс, так и периоды упадка. Ибо жизнь, как индивидуальная, так и общественная, как личная, так и историческая, есть единственная в мире реальность, сущностью которой является опасность. Жизнь, строго говоря, есть драма.*)

Всё это, верное вообще, получает особое значение в эпохи кризисов, как в наши дни. Симптомы нового поведения масс в эпоху их господства, которые мы сгруппировали под названием «прямого действия», могут возвещать также будущий прогресс, усовершенствование. Ясно, что каждая старая цивилизация постепенно обрастает омертвевшей материей, роговой оболочкой и т. п., которые мешают в жизни, управляют ее. Есть отмершие учреждения, изжитые ценности и авторитеты, устаревшие нормы, которые фор-

*) Я не сомневаюсь, что большинство читателей не примет этих выражений всерьез, в буквальном смысле слов: даже самые благосклонные сочтут их за метафоры. Только редкий читатель, достаточно прямой, не воображающий, будто он насквозь знает жизнь, позволит себе принять эти слова в прямом их значении. И он будет единственным, кто их правильно п о й м е т — независимо от того, верны они или нет. Среди остальных будет полное единодушие, с одним лишь различием: одни будут думать, что, с е р ь ь з н о г о в о р я, жизнь есть процесс, проделываемый душою; а другие, что это нечто вроде ряда химических реакций. Для этих читателей с такой герметически замкнутой душой я попробую дать мою мысль в иной формулировке: первичное, основное значение «жизни» раскрывается, когда к ней подходят не биологически, а биографически. Уже по той простой причине, что вся биология является лишь одной главой некоторых биографий, доступной для биологов. Все остальное — абстракция, фантазия, миф.

мально еще существуют, загромождая и усложняя живую жизнь. Весь этот репертуар «непрямого действия» в значительной степени обветшал и требует ревизии, «чистки». Необходимо упрощение; оно несет гигиену, лучший вкус, лучшие решения, экономию — когда меньшими средствами достигается больший результат.

В основном, нужно вернуть всю общественную жизнь, и прежде всего политику, к подлинной действительности. Европа не сможет сделать смелого прыжка, которого от нее требует вера в ее будущее, не сбросив с себя всей истлевшей ветоши, не представ снова в своей обнаженной сущности, не вернувшись к своему подлинному «я».

Этот предстоящий акт очищения и обнажения Европы, возвращения ее к своему подлинному бытию вызывает во мне энтузиазм. Я верю, что это необходимо для расчистки пути к достойному будущему Европы. И это заставляет меня требовать свободы мысли в отношении всего прошлого. Будущее должно первенствовать над прошлым, от него мы получаем приказы, определяющие наше отношение к прошлому.*)

Но надо избегать тяжкого греха правителей 19-го века: недостатка чувства ответственности, который ведет к утрате бдительности, настороженности. Кто отдается потоку событий, не обращая внимания на

*) Требование свободы в отношении к прошлому вовсе не является придиричливой «критикой», наоборот, — лишь ясно осознанным долгом каждой к р и т и ч е с к о й эпохи. Если я защищаю либерализм 19 века против масс, которые на него беспощадно нападают, то это не значит, что я отказываюсь от свободы высказывания против этого самого либерализма. И наоборот: примитивизм, который в этой книге показан с самой худшей стороны, является, с другой стороны, в известном смысле необходимым условием каждого крупного исторического прогресса.

предостережения, полученные еще в безоблачные дни, тот забывает свой долг и утрачивает чувство ответственности. Сейчас необходимо взывать и напоминать об ответственности; наш настоящий долг — указать и подчеркнуть явно опасные стороны новых симптомов.

Подводя баланс нашей общественной жизни — при условии, что нас занимает не столько настоящее, сколько перспективы будущего, — мы приходим к несомненному выводу, что неблагоприятные факторы оказываются в значительном перевесе над благоприятными.

Все наши материальные достижения подвергаются риску быть сметенными ввиду надвигающейся грозной проблемы, от решения которой зависит судьба Европы. Я формулирую эту проблему еще раз: господство в обществе попало в руки человека определенного типа, которому не дороги основы цивилизации. Основы не какой-нибудь определенной формы ее, но вообще всякой цивилизации. Конечно, этого человека очень интересуют наркотики, автомобиль и тому подобные вещи; но это лишь подчеркивает его полное равнодушие к цивилизации, как таковой. Ибо эти вещи — лишь продукты цивилизации, и страсть, с которой новый владыка жизни отдается этим вещам, только подчеркивает его полное безразличие к тем основным принципам, которые дали возможность создать эти вещи. Достаточно указать на следующий факт: с тех пор, как существуют естественные науки, то есть с эпохи Ренессанса, значение их непрерывно росло. Точнее говоря: число людей, занимавшихся теоретическими исследованиями, росло с каждым поколением. Первый относительный упадок приходится на наше время — поколение людей, родившихся на переломе столетия. Храмы чистой науки начинают терять притягательную си-

ду для студентов. И это происходит как раз в тот момент, когда индустрия достигает своего наивысшего расцвета, когда публика проявляет все больший интерес к произведениям техники и медицины.

Если бы это не завело нас слишком далеко, мы могли бы показать аналогичные явления в области политики, искусства, религии, равно как и в повседневной жизни.

Что означает столь парадоксальное положение? Задача этой книги именно в том и состоит, чтобы дать ответ на этот вопрос. Парадокс состоит в том, что нынешний «хозяин мира» — примитив, первобытный человек, внезапно вынырнувший среди цивилизованного мира. Цивилизован мир, но не его обитатель. Он даже не замечает цивилизации, как таковой, хотя и пользуется ее плодами, как и дарами природы. Новый человек хочет иметь автомобиль и наслаждается им, но он смотрит на него как на фрукт, выросший на райском дереве. В глубине души он не подозревает об искусственном, почти невероятном характере цивилизации; он восхищен аппаратами, машинами и абсолютно безразличен к принципам и законам, на которых они основаны. Когда я упоминал слова Ратенау о «вертикальном вторжении варваров», можно было подумать — как многие и делали — что это лишь фраза. Теперь ясно, что это выражение (независимо от того, верно оно или нет) во всяком случае не пустая фраза, что это точная формула, полученная в итоге сложного анализа. Человек массы действительно примитив, который неожиданно вынырнул на авансцену нашей старой цивилизации.

Сейчас постоянно говорят о фантастическом прогрессе техники, но я еще нигде не слышал — даже среди избранных, — чтобы касались ее неверного, драматического будущего. Даже Шпенглер, этот тонкий и глубокий ум — хотя и маниак — мне кажется

в этом пункте беззаботным оптимистом. Ибо он считает, что за веком «культуры» следует век «цивилизации», под которой он разумеет прежде всего технику. Представления Шпенглера о культуре и вообще об истории настолько расходятся с предпосылками этой книги, что нелегко говорить здесь о его заключениях, хотя бы лишь с целью проверки их. Только в общих чертах, пренебрегая деталями и приведя обе точки зрения к одному знаменателю, можно установить их основное различие: Шпенглер думает, что техника может продолжать развиваться даже и тогда, когда интерес к основным началам культуры угаснет. Я не могу этому поверить. Техника и наука — одной природы. Наука угасает, когда люди перестают интересоваться ею бескорыстно, ради нее самой, ради основных принципов культуры. Когда этот интерес отмирает, — что повидимому происходит сейчас, — техника может протянуть еще лишь короткое время, по инерции, пока не выдохнется остаток импульса, сообщенного технике чистой наукой. Жизнь идет с помощью техники, но не от техники. Техника сама по себе не может ни питаться, ни дышать, она не «вещь в себе» (*causa sui*); она лишь полезный, практический осадок бесполезных и непрактичных занятий.*)

Таким образом я прихожу к заключению, что интерес к технике никоим образом не может обеспечить ее развития или даже ее сохранения. Недаром техника считается одной из отличительных черт современной культуры, то есть такой культуры, которая исполь-

*) Поэтому популярное определение Америки, как «страны техники», не имеет реального значения. Одно из наибольших заблуждений Европы — это ее детские представления об Америке, распространенные даже среди образованных людей. Здесь частный случай несоответствия между сложностью современных проблем и ограниченной способностью современного духа.

зует практические прикладные науки. Потому-то из всего, что я выше подытожил, как наиболее характерные черты новой жизни, созданной 19-м веком, в конце концов остались лишь две: либеральная демократия и техника*). Но, повторяю, когда говорят о технике, то легко забывают, что ее животворным источником является чистая наука и что продление техники зависит в конце концов от тех же условий, что и существование чистой науки. Кто думает сейчас о тех нематериальных, но живых ценностях, таящихся в сердцах и умах людей науки и необходимых миру для продления работы этих людей? Или сейчас серьезно верят, что одними долларами можно обеспечить развитие науки? Эта иллюзия, которая многих успокаивает, является еще одним доказательством примитивизма нашего времени.

Вспомним то бесчисленное множество элементов, самых различных по всей природе, из которых сложным путем составляются физико-химические науки! Даже при самом поверхностном знакомстве с этой темой нам бросается в глаза тот факт, что на всем протяжении пространства и времени изучение физики и химии было сосредоточено на небольшом четырехугольнике: Лондон-Берлин-Вена-Париж, а во времени — только в 19-м веке. Это доказывает, что экспериментальная наука является одним из самых невероятных чудес истории. Пастухов, воинов, жрецов и колдунов было достаточно всегда и везде. Но область экспериментальных наук требует, повидимому, для своего развития совершенно исключительной

*) Строго говоря, либеральная демократия и техника так неразрывно связаны между собою, что одна немислима без другой. Нужно было бы найти специальное слово, более широкое понятие, обнимающее в себе их обоих. Это слово было бы подлинной «характеристикой» 19-го века.

конъюнктуры. Уже один этот простой факт должен был бы заставить нас призадуматься над непрочностью, летучестью научного вдохновения.*) Блажен, кто верует, что в случае, если бы Европа исчезла, северо-американцы смогли бы п р о д о л ж а т ь дело науки!

Стоило бы рассмотреть этот вопрос подробнее и уточнить в деталях исторические предпосылки, необходимые для развития экспериментальной науки и техники. Но человеку массы это не поможет понять ситуацию: у него нет желания слушать доводы разума; он научается только на собственном опыте, на собственном теле.

Вот, например, факт, который не позволяет мне строить иллюзий насчет убедительности доводов разума для современного человека массы: разве не абсурд, что в наше время простой заурядный человек не преклоняется сам, без внушений со стороны, перед физикой, химией и биологией? Ведь посмотрим на положение науки: в то время, как прочие отрасли культуры — политика, искусство, социальные нормы, даже мораль — явно стали проблематичными, сомнительными, остается одна область, которая проявляет все в большей степени, и при том в форме особенно убедительной для людской массы, свою изумительную, бесспорную силу — это эмпирические науки. Каждый день они дают что-то новое, чем рядовой человек может пользоваться. Каждый день появляются новинки — медикаменты, прививки, приборы и т. д. Каждому ясно, что если научная энергия и вдохновение не ослабеют, если число фабрик и лабораторий увеличится, то и жизнь автоматически

*) Не будем углубляться в этот вопрос. Большинство ученых сами до сих пор не имеют ни малейшего представления о том серьезном и опасном кризисе, который переживает сейчас их наука.

улучшится, богатство, удобства, благополучие могут быть удвоены и утроены. Можно ли представить себе более могучую и убедительную пропаганду науки? Почему же массы не выказывают никакого интереса и симпатии к науке, никакого желания давать деньги на ее поощрение и развитие? Наоборот: послевоенное время поставило ученых в положение париев. И ведь я тут имею ввиду не философов, а именно физиков, химиков, биологов. Философия не нуждается в покровительстве, внимании и симпатиях масс. Она свято хранит свою репутацию полной, якобы, бесполезности и этим освобождает себя от необходимости считаться с человеком массы. Она знает, что по своей природе она проблематична и весело принимает свою свободную судьбу, как птица Божия, не требуя ни от кого, чтобы о ней заботились, не напрашиваясь и не защищаясь. Если кому-нибудь она случайно может помочь, то она радуется этому просто из человеколюбия. Но это не ее цель — быть полезной людям, она к этому не стремится и этого не ищет. Да и как бы она могла претендовать, чтобы ее брали всерьез, если она сама начинает с сомнения в своем существовании, если она «живет» лишь постольку, поскольку сама с собой борется, сама себя отрицая? Поэтому оставим философию в покое, это особая статья.

Но экспериментальные науки нуждаются в массе так же, как и масса нуждается в них — под угрозой гибели: ибо наша планета уже не может прокормить ее сегодняшнее население без помощи физики и химии.

Какими доводами можно убедить в чем-либо людей, если их не убеждает автомобиль, в котором они разъезжают, или инъекции, которые утишают их боли? Тут огромное несоответствие между теми очевидными благами, которые наука каждый день дарит

массам, и тем полным отсутствием внимания, какое массы проявляют в отношении науки. Нельзя далее обманывать себя иллюзорными надеждами: от тех, кто так себя ведет, можно ожидать только одного — варварства. В особенности, если — как мы увидим далее — это невнимание к науке, как к таковой, проявляется ярче всего среди массы самих практиков науки — врачей, инженеров и т. д., которые к своей профессии проявляют большей частью то же отношение, как к автомобилю или аспирину, не ощущая никакой внутренней связи с судьбой науки и цивилизации.

Есть и другие симптомы надвигающегося варварства — уже активного характера, действенного, а не только пассивного, — которые бросаются в глаза и представляют тяжелое зрелище. Для меня лично несоответствие между благами, которые рядовой человек получает от науки, и невниманием, которым он ей отвечает, кажется самым грозным из всех симптомов.*). Я могу понять эту неблагодарность лишь вспомнив, что в Центральной Африке негры тоже ездят в автомобилях и глотают аспирин. Европейец, приходящий сейчас к власти — такова моя гипотеза — является по отношению к той сложной цивилизации, в которой он рожден, ничем иным, как дикарем, варваром, поднимающимся на сцену истории из недр современного человечества. Это и есть «вертикальное вторжение варварства».

*) Особенно поразительным представляется мне следующий факт: в то время, как все остальные стороны жизни — политика, закон, искусство, мораль, религия — переживают кризисы, являются временно банкротами, одна наука не стала банкротом; наоборот: она каждый день дает нам больше, чем мы от нее ожидали. В этом у нее нет конкурентов. Для среднего человека непростительно не замечать этого различия.

Х. ПРИМИТИВИЗМ И ИСТОРИЯ

Природа нам дана в готовом виде. Она сама себя питает и обновляет. В лесах, среди природы, мы смело можем быть дикарями. Мы можем также принять решение навсегда остаться дикарями без всякого риска, кроме разве случая прибытия других людей — не дикарей. В принципе, пребывание народов в вечно примитивной стадии вполне возможно, и такие народы есть. Брейсиг назвал их «народами вечного рассвета»: они пребывают в вечных замороженных сумерках, для которых никогда не взойдет солнце.

Это возможно только в природном мире, но невозможно в мире цивилизованном, подобном нашему. Цивилизация нам не дана готовой и она сама себя не может поддерживать. Она искусственна и требует художника или мастера.

Если вы хотите пользоваться благами цивилизации, но не позаботитесь о поддержании самой цивилизации, то вы жестоко ошибетесь — вы мигом окажетесь без всякой цивилизации. Один промах — и когда вы оглядываетесь кругом — всё исчезло, как дым. Как будто сдернули завесу, скрывавшую нагую Природу, и она появляется снова, девственная, как первобытный лес. Лес всегда первобытен и наоборот: всё первобытное — как девственный лес.

Романтиков всегда привлекали сцены насилия низших существ и сил природы над человеком, над белым женским телом. Они изображали Леду с лебедем, Пазифаю с быком, Антиопу с козлом. Они находили острое чувственное наслаждение в созерцании

руин, где вытесанные руками человека геометрические формы томятся в объятиях диких ползучих растений. Когда истинный романтик смотрит издали на здание, его глаза прежде всего ищут на карнизах и крышах пятна плюща и клочья мха. Они возвещают, что в конце концов — всё тлен; что над всеми этими созданиями рук человеческих снова вырастет дремучий лес.

Было бы неумно смеяться над романтиками. Они тоже имеют свою правду. За этими образами с их безгрешной чувственностью кроется великая и вечная проблема отношений между цивилизацией и тем, что лежит позади нее — Природой, между Логосом и Космосом. Мы вернемся еще к этому вопросу по другому поводу, где я буду отстаивать романтизм.

Но сейчас передо мною обратная задача. Дело идет о том, чтобы сдержать напор первобытного леса. Перед Европой стоит задача, подобная той, что причинила много забот Австралии: остановить наступление «дикого кактуса», который грозил вытеснить людей и сбросить их в море. В сороковых годах прошлого столетия один переселенец с берегов Средиземного моря привез в Австралию горшок с отсадком кактуса. Теперь бюджет Австралии обременен расходами на борьбу с кактусами, которые распространились по всему континенту и ежегодно захватывают большие участки земли.

Человек массы считает, что та цивилизация, которую он видит и использует со дня рождения, так же первозданна и самородна, как Природа, и тем самым он становится в положение дикаря. Цивилизация для него — нечто вроде первобытного леса, как я уже определил это. Но теперь надо установить некоторые детали.

Принципы, на которых покоится наша цивилизация, просто не существуют для современного челове-

ка массы. Основные культурные ценности его не интересуют, он с ними не соглашается, он не намерен их защищать. Как это произошло? По многим причинам; сейчас я хочу отметить одну из них.

Цивилизация по мере своего развития становится всё сложнее и напряженнее. Проблемы, которые она ставит перед нами, невероятно запутаны. Число людей, способных разрешать эти проблемы, становится все меньше. Послевоенный период представляет собой разительный пример этому. Восстановление Европы, как мы видим, далеко не легкое дело и рядовой европеец, повидимому, не может с ним справиться. Дело не в недостатке средств для решения этой проблемы, дело в недостатке голов. Вернее, головы есть, хотя и немного, но европейский «человек-массы» не хочет посадить их на свои плечи.

Это несоответствие между сложностью проблемы и наличными средствами будет все обостряться до тех пор, пока не будет найден выход; и тут основная трагедия нашей эпохи. Благодаря здоровым и плодотворным принципам, на которых построена наша цивилизация, она все время повышает свою производительность, как количественно, так и качественно, так что уже превосходит потребительную способность нормального человека — вероятно, впервые за всю историю цивилизации. Все прежние цивилизации погибали от несовершенства начал, на которых они были построены. Теперь европейская цивилизация шатается от обратных причин. В Греции и Риме не выдержали принципы организации, но не сам человек; Римская Империя погибла из-за недостатка техники. Когда государство разрослось, то возник целый ряд материальных проблем, которых неразвитая техника не могла разрешить. И античный мир начал приходить в упадок и разлагаться.

Но в наши дни сам человек не выдерживает. Он не в состоянии идти в ногу с прогрессом своей собственной цивилизации. Жутко становится, когда слышишь, как сравнительно образованные люди рассуждают на повседневные темы. Они напоминают грубые руки крестьян, которые своими толстыми, заскорузлыми пальцами пытаются взять со стола иголку. Они подходят к сложным политическим и социальным вопросам сегодняшнего дня с тем самым запасом идей и методов, какие применялись 200 лет тому назад для решения вопросов, в 200 раз более простых.

Развитая цивилизация всегда полна тяжелых проблем. Чем выше ступень прогресса, тем больше опасность крушения. Жизнь всё улучшается, но вместе с тем и усложняется. Конечно, по мере усложнения проблем средства к разрешению их все более совершенствуются. Но каждое новое поколение должно научиться владеть этими утонченными средствами. Среди них — чтобы быть конкретным — есть одно, особенно полезное именно для сложившейся, зрелой цивилизации; это — хорошее знание прошлого, накопление опыта, одним словом — история. Историческая наука — это совершенно необходимое оружие для сохранения и продления зрелой цивилизации. Не потому, чтобы она давала готовые решения для новых конфликтов — жизнь никогда не повторяется и требует всегда новых решений — но потому, что она предохраняет нас от повторения ошибок прошлого. Но, если человек или страна, проделав долгий путь и очутившись в трудном положении, вдобавок теряет память и не может использовать опыта прошлого, тогда дело плохо. Мне кажется, что Европа находится сейчас именно в таком положении. Самые «культурные» люди Европы в наши дни отличаются невероятным невежеством в истории. Я утверждаю, что современные руководители европейской полити-

ки знают историю гораздо хуже, чем их предшественники 18-го и даже 17-го столетия. Исторические познания правящей элиты тех веков сделали возможным изумительный прогресс 19-го века. Политика 18-го века вся была продиктована стремлением избежать ошибок прошлого и она располагала огромным запасом опытных данных. Но уже в 19-м веке «историческая культура» начала в общем убывать, хотя отдельные специалисты в то же время значительно продвинули историю, как науку.*) Этот упадок исторической культуры повлек за собой ряд специфических ошибок, последствия которых мы сейчас несем. В последней трети 19-го века начался — сперва невидимый, подземный — поворот вспять, возврат к варварству, то есть к примитивизму, к состоянию человека без прошлого или забывшего свое прошлое.

Поэтому большевизм и фашизм — эти два новых политических движения, возникших в Европе и на ее окраинах — представляют собою два ярких примера определенного регресса. Не столько по содержанию их теорий, которые сами по себе конечно имеют зерно истины (что на свете не обладает крупницей истины?), сколько благодаря антиисторическим, анахроническим методам, которыми они пытаются провести в жизнь свою крупницу истины. Это типичные движения массы, управляемые, как и всегда, людьми посредственными, несовременными, без богатой памяти, без исторического чутья, которые с самого начала ведут себя так, как если бы они были уже прошлым, как если бы это было возвращением первобытного леса.

Вопрос не в самом коммунизме или большевизме. Я говорю не о теории, не о вере. Я имею ввиду

*) Здесь мы имеем пример разницы между состоянием наук в известную эпоху и общим состоянием культуры в то же время.

непостижимый анахронизм этого движения: коммунист 1917 года производит революцию, тождественную по форме с теми, какие уже были проведены давным-давно, революцию, в которой нет ни малейшего прогресса, исправления дефектов, ошибок прошлого. Поэтому всё, сейчас происходящее в России, лишено исторического значения, это, строго говоря, все что угодно, только не переход к новой жизни. Наоборот, это — монотонное повторение прошлых революций, трафарет, революционный шаблон. И до такой степени, что нет ни одного шаблонного изречения, о революциях вообще, которое не нашло бы полного подтверждения в большевистской революции: «Революция пожирает собственных детей!» «Революция начинается умеренными, продолжается крайними и завершается реставрацией» и т. д.. К этим почтенным изречениям можно бы присоединить еще несколько менее популярных, хотя и столь же вероятных, как например: «революция длится не более 15 лет, творческого периода одного поколения».*)

Кто стремится к подлинному творчеству, к созданию новых форм социальной и политической жизни, тот должен прежде всего покончить с этими убогими трафаретами исторической «мудрости». Я лично провозгласил бы гениальным того политического деятеля, который первыми же своими реформами

*) Поколение длится около 30 лет. Но деятельность его разделяется на два периода, различные по форме: в первый период молодое поколение пропагандирует свои идеи, настроения, склонности; во второй — оно приходит к власти и проводит их в жизнь. Но следующее поколение в это время уже несет новые идеи и вкусы, которые начинают проникать в общую атмосферу. Если идеи и вкусы правящего поколения носят радикальный, революционный характер, то новое поколение — антиреволюционно, т. е. в сущности реставрационно по духу. Но, конечно, эта реставрация не есть простое возвращение к старому, этого никогда не было.

свел бы с ума господ профессоров истории, показав им на деле, как все «законы» их науки внезапно теряют свою силу, рассыпаются вдребезги и обращаются в прах.

Почти то же самое, только с обратным знаком, можно сказать о фашизме. Ни большевизм, ни фашизм не стоят на высоте своей эпохи: они не несут в себе своего прошлого в ракурсе, в сжатой форме, а это является необходимым условием для улучшения прошлого. С прошлым нельзя бороться, просто уничтожая его. Есть только один способ преодолеть его: это поглотить его в себе. Революция, которая не делает этого, не будет иметь успеха.

Как большевизм, так и фашизм — ложные зори; они предвещают не новый день, а возврат к архаическому, давно пережитому периоду: к первобытному примитивизму. И та же судьба ожидает все движения, которые простодушно вступят в открытый бой с той или иной частью прошлого, вместо того, чтобы переварить ее.

Нет никакого сомнения в том, что либерализм 19-го века должен быть преодолен. Но этого-то как раз и не может выполнить тот, кто, подобно фашисту, объявляет себя антилибералом. Ибо антилибералами или не-либералами были люди до либерализма. И так как либерализм тогда оказался сильнее, то он должен победить и в этот раз, или же оба противника погибнут при гибели всей Европы. Такова неумолимая хронология жизни; в ней либерализм стоит позже антилиберализма или, что тоже самое, он является высшей по развитию формой жизни, чем его противник, подобно тому, как ружье есть высшая форма оружия по сравнению с копьем.

На первый взгляд кажется, что каждое «анти», то есть «против чего-то», может появиться лишь после этого «чего-то». Но на самом деле в этом «анти» нет

никакого положительного содержания, ничего нового; это — пустое отрицание, то есть возвращение к тому, что было до «чего-то» отрицаемого. Возьмем конкретный пример: если кто-нибудь заявляет, что он «против Ивана», то это значит только, что он предпочитает общество (или мир) без Ивана; но это в точности то, что было до появления Ивана (в обществе или мире). Таким образом, противник Ивана вместо того, чтобы встать после Ивана, помещается до него; он начинает крутить фильм жизни снова от прошлого, в результате чего неизбежно наступит момент, когда Иван появится снова.

Все эти «анти» напоминают легенду о Конфуции. Он родился, естественно, после своего отца, но в момент его рождения ему было уже 80 лет, тогда как его отцу — только 30! Каждое «анти» — не больше, как пустое отрицание, голое «нет».

Все было бы очень просто, если бы мы своим коротким «нет» могли похоронить прошлое. Но прошлое по своей природе есть возвращающееся. Если его отгоняют, оно неизменно возвращается. Поэтому единственный способ справиться с ним — это не выгонять его, считаться с ним, но стараться избегать его, уклоняться от него. Иными словами: жить на уровне эпохи с тонким ощущением исторической конъюнктуры.

Прошлое имеет свою правду. Если ее не признают, то оно возвращается и требует признания, подчас даже там, где и не надо. Либерализм имел свою правду и его правду надо признать на веки вечные. Но он был прав не во всем, и то, в чем он не был прав, надо изъять. Европа должна сохранить все существенное из своего либерализма. Это необходимое условие для преодоления его.

Я говорю здесь о фашизме и большевизме только вскользь, отмечая лишь одну черту в них — их

анахронизм. Эта черта, по моему мнению, органически присуща всему тому, что сейчас видимо торжествует. Ибо сейчас повсюду торжествует человек-массы и следовательно только те течения могут иметь видимый успех, которые проникнуты его духом, выдержаны в его примитивном стиле. Я ограничиваюсь этим и не углубляюсь в исследование внутренней природы того и другого движения так же, как и не пытаюсь решать вечную дилемму революции или эволюции. Самое большое, что это исследование позволяет себе требовать, это чтобы как революция, так и эволюция были историчны, а не анахроничны.

Тема этого исследования политически нейтральна, она лежит в иной сфере, более глубокой, чем политика с ее склоками. Консерваторы не в большей и не в меньшей степени «масса», чем радикалы; и разница между ними, которая всегда была очень поверхностной, ничуть не мешает им обоим быть по существу одним и тем же: восставшим «человеком массы».

У Европы нет перспектив на будущее, если только судьба ее не попадет в руки людей, подлинно современных, проникнутых ощущением истории, сознанием уровня и задач нашей эпохи и отвергающих всякое подобие архаизма и примитивизма. Нам нужно знание подлинной интегральной Истории для того, чтобы не провалиться в прошлое, а наоборот найти выход из него.

XI. ЭПОХА САМОДОВОЛЬСТВА

Итак, мы констатируем новый социальный факт: европейская история впервые оказывается в руках заурядного человека, как такового, и зависит от его решений. Или, то же в действительном залоге: заурядный человек, до сих пор всегда руководимый другими, решил теперь сам управлять миром. Это решение выйти на социальную авансцену было принято им автоматически, как только в нем созрел тип «нового человека». Изучая психическую структуру этого нового «человека-массы» с точки зрения социальной, мы находим в нем следующее: 1) врожденную, глубокую уверенность в том, что жизнь легка, изобильна, без каких-либо серьезных ограничений; потому каждый заурядный человек проникнут ощущением своей силы и уверенности; 2) эти ощущения побуждают его к самоутверждению, к полной удовлетворенности своим моральным и интеллектуальным багажом. Это самодовольство ведет к тому, что он не признает никакого внешнего авторитета, никого не слушается, не допускает критики своих мнений и ни с кем не считается. Внутреннее ощущение своей силы побуждает его высказывать всегда свое превосходство; он ведет себя так, как если бы он и ему подобные были одни на свете; и отсюда вытекает: 3) он вмешивается во все дела, навязывает свое вульгарное мнение, не считаясь с другими, следуя принципу «прямого действия».

Вот этот перечень типичных черт и побудил нас вспомнить о некоторых дефективных типах, как избалованный ребенок и бунтующий дикарь, то есть варвар. (Нормальный дикарь, наоборот, крайне послушен внешнему авторитету — религии, табу, социаль-

ным традициям, обычаям). Пусть читатель не удивляется тому, что я осыпаю этого типа нелестными эпитетами. Эта книга является первым вызовом этому триумфатору нашего века и предупреждением, что в Европе найдутся люди, готовые оказать решительное сопротивление его попытке установить тиранию. Сейчас это лишь первая стычка на аванпостах. Атака на главном фронте последует вскоре и совсем в иной форме, чем эта книга. Эта атака произойдет таким образом, что человек-массы не сможет предупредить ее; он будет видеть ее перед собой, не подозревая, что это и есть главный удар.

Этот тип, который сейчас встречается везде, и всюду проявляет свое внутреннее варварство, действительно представляет собою избалованного ребенка, баловня человеческой истории. Это — наследник, который ведет себя именно и только как наследник. В нашем случае наследством является цивилизация со всеми ее благами — изобилием, удобствами, безопасностью и т. д. Как мы видели, только в условиях нашей легкой, удобной и безопасной жизни и мог возникнуть такой тип, с такими чертами, с таким характером. Он является одним из многих уродливых продуктов влияния роскоши на человеческую натуру. Мы обычно думаем — ошибочно! — что жизнь в изобилии лучше, полнее и выше по качеству, чем жизнь, состоящая главным образом в борьбе с нуждой. Но это не верно — в силу серьезных причин, излагать которые здесь не место. Сейчас достаточно напомнить неизменно повторяющуюся трагедию каждой наследственной аристократии. Аристократ наследует, то есть получает готовыми условия жизни, которых он не создавал, которые, следовательно, не находятся в органической связи с его личностью, с его жизнью. Он видит себя с колыбели, без всяких личных заслуг, в обладании богатством и привилегиями. Сам он внутренне не имеет ничего общего с ними —

он их не создавал. Они обрамляли другое лицо — его предка. И ему приходится жить «наследником», носить убор другого лица. К чему это приводит? Какую жизнь будет вести наследник — свою собственную или своего высокого предка? Ни то, ни другое. Ему суждено «представлять» другое лицо, то есть по существу быть ни самим собой, ни тем другим. Его жизнь неизбежно утрачивает подлинность и превращается в пустую фикцию, симуляцию чужого бытия. Избыток средств, которыми он призван управлять, не позволяет ему осуществить его подлинное, личное призвание, он калечит его жизнь. Каждая жизнь есть борьба за самоутверждение. Как раз те препятствия, на которые мы при этой борьбе натываемся, пробуждают и развивают нашу активность и наши способности. Если бы воздух не давил на нас, мы ощущали бы свое тело, как нечто пустое, губчатое, прозрачное. Если бы наше тело не имело веса, мы не могли бы ходить. Таким образом недостаток усилий и напряжения постепенно расслабляет аристократа-наследника. Результатом этого и является то специфическое одряхление старых дворянских родов, которое не имеет аналогии. Внутренний трагический механизм, который неумолимо влечет каждую наследственную аристократию к безнадежному вырождению, в сущности никогда еще не был описан.

Всё приведенное служит к тому, чтобы опровергнуть наивное представление, будто переизбыток земных благ способствует улучшению жизни. Как раз наоборот. Чрезмерное изобилие жизненных благ*) и возможностей автоматически ведет к созданию уродли-

*) Не следует смешивать прирост и даже обилие благ с чрезмерным избытком их. В 19 веке жизнь становилась всё легче и этим объясняется тот поразительный подъем жизни, как количественный, так и качественный, на который мы указывали выше. Но настал момент, когда цивилизованный мир стал по сравнению с потребностями среднего человека чрезмерно изобильным и бо-

вых, порочных форм жизни, к появлению особого типа людей-выродков; одним из частных случаев такого типа является «аристократ» (в кавычках); другим — избалованный ребенок; третьим, наиболее законченным и радикальным — современный «человек-массы». (Сравнение «человека-массы» с «аристократом» можно было бы развить подробнее, показав на ряде примеров, как многие черты, типичные для «аристократ-наследника» всех времен и народов, проявляются также и в наклонностях современного «человека-массы». Например: склонность делать из игры и спорта главное свое занятие в жизни; культ тела — гигиенический режим; шегольство в одежде; отсутствие рыцарства в отношении к женщине; флирт с «интеллектуалами», несмотря на внутреннее пренебрежение к ним, а иногда и жестокие шутки над ними; предпочтение, отдаваемое абсолютной власти перед либеральным режимом и т. д.)*)

*) Здесь, как и в других отношениях, английская аристократия, повидимому, представляет исключение. Но достаточно припомнить в основных чертах историю Англии, чтобы признать, что этот достойный удивления пример является исключением, только подтверждающим общее правило. Вопреки общепринятому мнению, английское дворянство жило реже в изобилии и чаще в трудах и опасностях, чем дворянство на континенте Европы. И именно потому, что оно жило в постоянных опасностях, оно снискало себе уважение, которое всегда вызывает неизменная готовность к борьбе. Обычно забывают то существенное обстоятельство, что Англия до второй половины 18-го века была беднейшей страной Европы. Именно это и спасло английскую аристократию. Так как она не обладала богатством, то она с самого начала обратилась к торговле и индустрии, что на континенте считалось неблагородным. Таким образом английское дворянство стало вновь деятельным и творческим, вместо того, чтобы вести праздную жизнь за счет своих привилегий.

гатым. В конце концов, благополучие и безопасность, созданные прогрессом, испортили заурядного человека, внушив ему чрезмерную самоуверенность, порочную и одурачивающую.

Я еще раз подчеркиваю (рискуя надоесть читателю), что этот человек с примитивными наклонностями, этот новейший тип варвара является автоматическим продуктом современной цивилизации, в особенности той формы ее, какую она приняла в 19 веке. Он не вторгся в цивилизованный мир извне, подобно вандалам и гуннам 5-го века; он не является также и плодом таинственного самозарождения, каким представлял себе Аристотель появление головастиков в пруду; он — естественный продукт нашей цивилизации. Можно установить закон, подтверждаемый палеонтологией и био-географией: человеческая жизнь возникала и развивалась только тогда, когда средства, какими она располагала, соответствовали тем проблемам, какие перед ней стояли. Это относится как к духовному, так и к физическому миру. Здесь, обращаясь к наиболее конкретной стороне существования рода людского, я должен напомнить, что человек мог процветать лишь в тех зонах нашей планеты, где летняя жара компенсируется зимним холодом. В тропиках человек дегенерирует; низшие расы — например, пигмеи — были оттеснены в тропики расами, появившимися позднее и стоявшими на высшей ступени развития.

Цивилизация 19 века поставила среднего, заурядного человека в совершенно новые условия. Он очутился в мире сверхизобилия, где ему предоставлены неограниченные возможности. Он видит вокруг себя чудесные машины, благотворную медицину, заботливое государство, всевозможные удобства и привилегии. С другой стороны, он не имеет и понятия о том, каких трудов и жертв стоили эти достижения, эти инструменты, эта медицина, их изобретение, обеспечение их производства; он не подозревает о том, насколько сложна и хрупка организация самого государства; и поэтому он не ощущает никакой благодарности и не признает за собой почти никаких обязанностей. Эта

неуравновешенность прав и обязанностей искажает его натуру, развращает ее в самом корне, отрывает его от подлинной сущности жизни, которая всегда сопряжена с опасностью, всегда непроглядна и гадательна. Этот новый тип человека — «самодовольный человек» — является воплощенным противоречием самой сущности человеческой жизни. Поэтому, когда он начинает задавать тон в обществе, надо бить в набат и громко предупреждать о том, что человечеству грозит вырождение, духовная смерть. Правда, сейчас жизненный уровень Европы выше, чем когда-либо в истории, но когда мы глядим вперед, в будущее, нас охватывает страх, что нам не удастся ни подняться еще выше, ни сохранить сегодняшний уровень; скорее всего нас ждет упадок, скольжение вниз.

Теперь, кажется, достаточно ясно, что представляет собою то в высшей степени уродливое существо, которое я называю «самодовольным человеком». Это — субъект, для которого жизнь состоит в том, чтобы делать только то, что ему «нравится». Это типичная психология «маменькина сына». Мы знаем, как она появляется: в семейном кругу все проступки, даже крупные, проходят в конечном счете безнаказанно. Домашняя атмосфера — искусственная, тепличная; она прощает то, что в обществе, на улице, вызвало бы автоматически неприятные последствия для провинившегося. Но «сын» убежден, что он и в обществе может себе позволить то же, что и у себя дома, что вообще нет никакой опасности, ничего непоправимого, неотвратимого, рокового и что поэтому он может безнаказанно делать всё, что ему вздумается.*) Жестокое заблуждение! Суть не в запрете, не в том, что мы не смеем делать чего-то, что нам хочется. Суть в положительном указании, а именно: мы можем делать т о л ь к о о д н о, а именно то, что мы д о л ж н ы делать; мы можем быть только

тем, чем мы д о л ж н ы быть. Единственный выход — это отказаться делать то, что мы должны делать. Но это еще не значит, что мы свободны делать то, что нам нравится. В этом случае мы обладаем только отрицательной свободой воли — не х о т е т ь, не д е л а т ь (*noluntas*). Мы вольны уклониться от нашего истинного назначения, но тогда мы, как дезертиры, осуждены на заключение: мы проваливаемся в подземелье нашей судьбы. Я не могу показать этого каждому отдельному читателю на его собственной судьбе, так как она мне неизвестна; но я могу показать это на тех элементах его судьбы, которые общи всем. Например: в наши дни каждый европеец уверен (и эта его уверенность крепче всех его «идей» и «мнений»), что в наш век надо быть либералом. Неважно, какая именно форма либерализма подразумевается. Я говорю лишь о том, что сегодня самый реакционный европеец в глубине души признает, что то, что волновало Европу прошлого столетия, и что получило название либерализма, есть в конечном счете нечто подлинное, имманентное западному человеку, неотделимое от него, хочет он этого или нет.

Даже если бы было доказано, что все конкретные попытки осуществить завет политической свободы были ошибочны и обречены на неудачу, то все же по существу, по идее, этот завет не скомпрометирован и остается в силе. Это конечное убеждение остается и у коммунистов и у фашистов, на какие бы улов-

*) Что представляет собою семья в отношении общества, то, в большом масштабе, представляет отдельная нация в отношении всех остальных наций. Одним из наиболее ярких и подавляющих признаков новой «эпохи самодовольства» является — как мы увидим — поведение некоторых наций, которые «делают то, что им нравится» в международном масштабе. В своей наивности они называют это «национализмом». Мне претит слепое преклонение перед интернационализмом; однако эти **выходки** новоявленных «националистов» я нахожу смешными и недепными.

ки они ни пускались, чтобы убедить самих себя в обратном. Оно остается таким и у католика, который продолжает твердо верить в догматы. Все они знают, что, несмотря на всю их справедливую критику либерализма, его внутренняя правда остается неуязвимой, ибо эта правда не теоретическая, не научная, не рассудочная; она совсем другой природы и ей принадлежит решающее слово: это правда судьбы. Теоретические истины не только подлежат дискуссии, но все их значение и сила именно в том, что они предмет дискуссии. Они вытекают из дискуссии, живут лишь пока она ведется и созданы исключительно для дискуссии. Но судьба нашей жизни — чем нам стать и чем нам не быть — не подлежит дискуссии; она принимается или отвергается. Если мы ее принимаем, то наше бытие подлинно; если отвергаем, то тем самым мы отрицаем и искажаем сами себя.*) Наша судьба не в том, чтобы делать то, что нам сейчас нравится; скорей мы угадаем ее волю, приняв на себя, как должное, то, к чему у нас нет сейчас влечения.

Вот, например характерные черты «самодовольного человека»: он знает, что определенные факты не могут иметь места. И тем не менее — вернее именно поэтому — он ведет себя так, как если бы он был уверен в обратном. Так фашист ополчается против политической свободы именно потому, что он знает, что подавить ее надолго невозможно, что она является неотъемлемой частью самой сущности европейской жизни и что она будет снова возвращена, как только это будет необходимо, в час серьезного кризиса. Ибо

*) Снижение, деградация жизни — вот судьба того, кто отказывается быть тем, чем он призван быть. Его подлинное бытие однако не умирает; оно становится тенью, призраком, который постоянно напоминает ему о его значении, заставляет его чувствовать свою вину и показывает его снижение. Дезертир своей судьбы осужден вечно переживать свою измену.

основной тон поведения человека массы — это несерьезность, полущутка. Всё, что он делает, он делает не искренне, без уверенности, это всё напоминает выходки балованного сына. Поспешность, с которой он при каждом случае принимает трагическую, роковую позу, разоблачает его. Люди разыгрывают трагедии именно потому, что они не верят в реальность той подлинной трагедии, которая действительно разыгрывается на сцене цивилизованного мира.

Хороши мы были бы, если бы нам пришлось принимать за чистую монету всё то, что люди сами заявляют о себе и своих намерениях. Если кто либо утверждает, что дважды два — пять, и при том нет оснований считать его за сумасшедшего, то мы можем быть уверены, что он сам не верит этому, как бы он ни кричал об этом, или готов был даже «умереть» за это!

Вихрь всеобщего, всепроникающего шутовства и фарса веет по Европе. Почти все фигуры, позы, манифесты — маскарадные и лживы. Все усилия направлены к одной цели: ускользнуть от нашей подлинной судьбы, ослепнуть, чтобы не замечать ее, оглохнуть, чтобы не слышать ее призыва, уклониться от встречи с тем, ч т о б ы т ь д о л ж н о. Европейская жизнь обращается в шутовской маскарад и чем трагичнее маска, тем большего шута она прикрывает. Маскарад появляется там, где жизнь не построена на твердой базе неизбежности, которой надо держаться во что бы то ни стало, до конца. «Человек-массы» не хочет оставаться на твердой, недвижимой почве своей судьбы, он предпочитает фиктивное существование висения в воздухе. Потому-то никогда еще не было так много жизней, вырванных с корнем из почвы, из своей судьбы, похожих на растение «перекати-поле», увлекаемых любым течением. Мы живем в эпоху «движений», «течений», «скольжений». Почти никто не оказывает сопротивления тем поверхностным вихрям, ко-

торые возникают в искусстве, философии, в политике, в социальной жизни. И потому риторика процветает, как никогда.

Быть может, мы лучше поймем наш современный мир, если подчеркнем в нем то, что у него — несмотря на всю его оригинальность — является общим с прошлыми эпохами. В третьем веке до Р. Х., в эпоху расцвета Средиземноморской культуры, появились циники. Диоген в своих грязных сандалиях вступил на ковры Аристиппа. Циники кишели на всех углах и даже на высоких постах. Но что они делали? Они саботировали цивилизацию того времени. Они были нигилистами эллинизма; они ничего не создали, ибо ничего не делали. Их роль сводилась к разложению, вернее к попытке разложения, так как они не достигли и этой цели. Циник, паразит цивилизации, занят тем, что отрицает ее, и отрицает именно потому, что убежден в ее прочности. Что стал бы делать он в деревне дикарей, где каждый спокойно и серьезно ведет себя именно так, как циник из озорства учит поступать своих соплеменников? Что делать фашисту, если ему не перед кем будет ругать либерализм? Или сюрреалисту, если он перестанет издеваться над искусством?

Иного поведения и нельзя ожидать от людей этого типа, родившихся в хорошо организованном мире, в котором они замечают только его блага, но не его опасности. Их окружение портит их; цивилизация — это их «дом», семья, а они — «маменькины сынки»; и они продолжают свои выходки и фарсы, ибо никто им в этом не препятствует; ничто не заставляет их выслушивать советы старших и искать контакта с таинственной глубиной собственной судьбы.

ХII. ВАРВАРСТВО «СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»

Как я уже сказал, цивилизация 19-го века автоматически создала тип «человека-массы». Я хотел бы дополнить мою общую формулу анализом механизма этого процесса, показав его на частном случае. В конкретной форме мой тезис выиграет в убедительности.

Цивилизация 19-го века — я утверждал — складывается из двух крупных элементов: либеральной демократии и техники. Займемся сейчас последней. Современная техника возникла из сочетания капитализма с опытными науками. Не всякая техника научна. Изобретатель кремневого топора не имел понятия о науке, но он положил начало технике. Китай достиг высокой технической зрелости, не подозревая о существовании физики. Только современная европейская техника покоится на научной базе, и отсюда ее отличительная черта — возможность безграничного развития. Техника иных стран и эпох — Месопотамии, Египта, Греции, Рима, Востока — всегда достигала какого-то предела, перейти который она не могла; и по достижении его начинался упадок.

Эта чудесная техника Запада сделала возможной не менее чудесную плодovitость европейской расы. Вспомним факт, с которого мы начали наше исследование и из которого вытекли постепенно все наши заключения.

Начиная с 5-го столетия и вплоть до 1800 г. население Европы никогда не превышало 180 миллионов; но с 1800 до 1914 оно возросло до 460 миллионов. Беспримерный скачок в истории человечества! Нет сомнения, что именно техника в сочетании с ли-

беральной демократией расплодили человека массы — в количественном смысле этого выражения. Но в этой книге я старался показать, что они ответственны за появление «человека-массы» также и в качественном, уничижительном смысле этого слова.

Под массой — как я подчеркнул уже в начале — подразумеваются не специально рабочие; это слово означает не социальный класс людей, а тип людей, встречающийся во всех социальных классах, тип, характерный для нашего времени, преобладающий и господствующий в обществе. Мы сейчас увидим это с полной ясностью.

В чьих руках сегодня общественная сила? Кто накладывает на нашу эпоху печать своего духа? Без сомнения, человек среднего класса, буржуазия. Кто среди этой буржуазии представляется избранной, ведущей группой, сегодняшней аристократией? Без сомнения — «техники» (в широком смысле слова), специалисты: инженеры, врачи, финансисты, профессора и т. д. Кто внутри этой группы представляет ее достойнее, полнее всех? Без сомнения, ученый, человек науки. Если бы обитатель иной планеты появился в Европе и, с целью составить о ней понятие, стал разыскивать наиболее достойного представителя ее, то Европа — в расчете на благоприятный отзыв — непременно указала бы ему на своих людей науки. Гости, конечно, интересовали бы не исключительные личности, но общий тип «ученого», как представителя «сливок» европейского общества.

И вот оказывается, что сегодняшний ученый является прототипом человека-массы. И не случайно, не в силу индивидуальных недостатков того или иного ученого, но потому, что сама наука — корень нашей цивилизации — автоматически превращает его в человека массы, то есть в первобытного человека, в современного варвара.

Это уже не ново, отмечено уже много раз; но, лишь введенный в общую схему нашего исследования, этот факт получает полный смысл и угрожающее значение его выступает с очевидной ясностью.

Экспериментальная наука появляется в конце 16-го века с Галилеем; в конце 17-го века Ньютон дает ей основные установки и в середине 18-го века наука начинает развиваться. Развитие любого явления существенно отличается от самой основы его, оно подчинено иным условиям. Так например, основные начала «физики» (собирательное имя экспериментальных наук) требуют объединяющего усилия, синтеза; это и было делом Ньютона и его современников. Но развитие физики поставило задачу обратного характера. Чтобы двигать науку вперед, стало необходимым, чтобы люди науки специализировались: люди науки, но не сама наука. Наука не есть специальность; если бы она ею была, она тем самым перестала бы быть истиной. Даже и эмпирическая наука, взятая в целом, перестает быть истиной, как только она оторвана от математики, от логики, от философии. Но научно исследовательская работа неизбежно требует специализации.

Было бы крайне интересно и много полезнее, чем это кажется на первый взгляд, написать историю физических и биологических наук, показав процесс роста специализации в работе исследователя. Такая история показала бы, как ученые от поколения к поколению все более ограничивают себя, как поле их духовной деятельности все суживается. Но главный вывод был бы не в этом, а в обратной стороне этого факта: в том, что ученые от поколения к поколению — в силу того, что они все более ограничивают круг своей деятельности — постепенно теряют связь с остальными областями науки, теряют возможность охвата мира, как целого, то есть того, что единственно заслуживает имени европейской науки, культуры, цивилизации.

Специализация наук начинается как раз в ту эпоху, которая назвала цивилизованного человека «энциклопедическим человеком». 19-й век начал свою историю под водительством людей, которые жили еще как энциклопедисты, хотя их творческая работа носила уже характер специализации. В следующем поколении центр тяжести перемещается: специализация начинает в каждом ученом оттеснять общую культуру на задний план. Около 1890, когда третье поколение взяло на себя духовное водительство в Европе, мы находим уже новый тип ученого, беспрецедентный в истории. Это — человек, который из всего, что необходимо знать интеллигентному человеку, знаком лишь с одной из наук, да и из той он знает лишь малую часть, в которой он непосредственно работает. Он доходит до того, что считает за достоинство свое отсутствие интереса ко всему, что лежит за пределами его узкой специальности, и называет «дилетантством» всякий интерес к широкому знанию.

Этому типу ученого действительно удалось на своем узком секторе сделать новые открытия и тем продвинуть свою науку — которую он сам едва знает, — а тем попутно послужить и всей той энциклопедии знания, которую он сознательно игнорирует. Как подобная вещь стала возможной? И как она возможна еще сейчас? Мы стоим здесь перед парадоксальным, невероятным и в то же время неоспоримым фактом: экспериментальные науки развились главным образом благодаря работе людей посредственных, даже менее, чем посредственных. Иначе говоря, современная наука, корень и символ нашей цивилизации, впустила в свои недра человека, интеллектуально заурядного; и она позволила ему работать там с видимым успехом. Причина этому лежит в том факте, который является одновременно и огромным достижением и грозной опасностью для новой науки и для всей цивилизации,

направляемой и представляемой наукой; а именно — в
м е х а н и з а ц и и.

Большая часть работы в области физики или биологии состоит в механических операциях, доступных каждому или почти каждому. Для производства бесчисленных исследований наука подразделена на мелкие участки и исследователь может спокойно сосредоточиться на одном из них, оставив без внимания все остальные. Серьезность и точность методов исследования позволяет применять это временное, но вполне реальное, расчленение науки для практических целей. Работа, ведущаяся этими методами, идет механически, как машина, и для того, чтобы получить обильные результаты, научному работнику вовсе не нужно обладать обширными знаниями общего характера. Таким образом, большинство ученых способствуют общему прогрессу науки, не выходя из узких рамок своей лаборатории, замурованные в ней, подобно пчелам в своих сотах.

Но это создает крайне странную касту людей. Исследователь, открывший новое явление, невольно проникается сознанием своей мощи и уверенностью в себе. Его открытие дает ему право — вернее некоторое подобие права — считать себя «знатоком» своего дела. В действительности он обладает лишь крохой знания, которая в совокупности с другими крохами — которыми он не обладает — составляет подлинное з н а н и е. Такова внутренняя природа специалиста, типа, который в начале нашего века достиг необыкновенного развития. Специалист очень хорошо «знает» лишь свой крохотный уголок вселенной; но он ровно ничего не знает обо всем остальном.

Теперь мы имеем законченный портрет того странного нового человека, которого я показал в обоих его противоположных аспектах. Я уже сказал, что это явление не имеет прецедента во всей истории. Теперь

«специалист» служит нам, как яркий конкретный пример «нового человека» и позволяет нам разглядеть весь радикализм его новизны. Ибо раньше все люди могли быть разделены просто на образованных и необразованных, на более или менее образованных и более или менее необразованных. Но «специалист» не может быть подведен ни под одну из этих категорий. Его нельзя назвать образованным, так как он полный невежда во всем, что не входит в его специальность; но он также и не невежда, так как он все-таки «человек науки» и знает в совершенстве свой крохотный уголок вселенной. Мы должны были бы назвать его «ученым невеждой» и это очень серьезный момент: это значит, что во всех вопросах, ему неизвестных, этот господин поведет себя не как человек, незнакомый с делом, но со всем авторитетом и амбицией, присущими ему, как знатоку и специалисту.

И действительно, поведение «специалиста» этим и отличается. В политике, в искусстве, в социальной жизни, в остальных науках — он держится примитивных взглядов полного невежды; но он их излагает и отстаивает с авторитетом и самоуверенностью, не принимая возражений — парадокс! — компетентных специалистов этой области. Ибо цивилизация, дав ему специальность, сделала его самодовольным и герметически замкнутым в своих пределах; и внутреннее ощущение своего достоинства и ценности заставляет его поддерживать свой «авторитет» и вне узкой сферы его специальности. Таким образом оказывается, что даже человек высокой квалификации, ученый специалист — казалось бы прямая противоположность «человека-массы» — может во многих случаях вести себя точь-в-точь как человек-массы.

Это замечание приходится понимать буквально. Достаточно взглянуть, как неумно ведут себя сегодня во всех жизненных вопросах — в политике, в искус-

стве, в религии и т. д. — наши «люди науки», а за ними врачи, инженеры, экономисты, профессора... Как убого и нелепо они мыслят, судят, действуют! Непризнание авторитетов, отказ подчиняться кому бы то ни было — эти типичные черты «человека-массы» — достигают максимума именно у этих частично квалифицированных людей. Как раз эти люди символизируют и в значительной степени осуществляют современное господство масс, а их варварство является непосредственной причиной деморализации Европы. С другой стороны, эти люди сами по себе являются наиболее ярким и убедительным доказательством того, что цивилизация 19-го века, представленная самой себе, допустила возрождение примитивизма и варварства.

Прямым результатом этой неумеренной специализации явился тот парадоксальный факт, что, хотя сегодня «ученых» больше, чем когда-либо, однако подлинно образованных людей сейчас гораздо меньше, чем, например, в 1750 г. И хуже всего то, что эти узкие «спецы», вращающие «ворот науки», не в состоянии обеспечить подлинный прогресс науки. Ибо для этого необходимо время от времени регулировать ее развитие, производить реконструкцию, перегруппировку, унификацию; но эта работа уже требует синтетических способностей; синтез становится все труднее, так как поле действия все расширяется, включая все новые и новые области. Ньютон мог построить свою теорию физики без особых познаний в философии, но Эйнштейн уже должен был хорошо знать Канта и Маха, чтобы придти к своим выводам. Кант и Мах (я беру эти имена лишь как символы той огромной работы по изучению философии и психологии, какую проделал Эйнштейн) — послужили к тому, чтобы освободить ум Эйнштейна и расчистить ему дорогу к его открытиям. Но одного Эйнштейна недостаточно. Физика вступает в один из тягчайших

кризисов в своей истории; она может быть спасена только новой «Энциклопедией», более систематической, чем первая.

Итак специализация, которая в течение столетия обеспечивала прогресс экспериментальных наук, приближается к состоянию, когда она не сможет больше продолжать это дело, если новое поколение не снабдит ее более подходящей организацией и новым персоналом.

Но если специалист не представляет себе философского значения той науки, в которой он работает, то он еще меньше знает об исторических условиях, необходимых для дальнейшего развития этой науки, то есть: какова должна быть структура общества и человеческого сердца, чтобы исследование могло идти успешно? Заметный упадок интереса к научной работе, о котором я уже упоминал, является тревожным симптомом для каждого, кто имеет верное представление о цивилизации; то представление, которого — увы! — обычно лишен типичный «ученый» — краса и гордость нашей цивилизации. Он ведь верит, что цивилизация есть нечто естественное, Богом данное, вроде земной коры или первобытного леса.

ХIII. ВЕЛИЧАЙШАЯ ОПАСНОСТЬ — ГОСУДАРСТВО

При нормальном общественном порядке масса, как таковая, не должна выступать активно. В этом ее предназначение. Она появилась на свет для того, чтобы быть пассивной, чтобы кто-то влиял на нее, — направлял, представлял и организовал ее — вплоть до того момента, когда она перестанет быть массой или, по крайней мере, захочет этого. Но она появилась на свет не для того, чтобы выполнять все эти функции самой. Она должна подчинить свою жизнь высшему авторитету, представленному отборным меньшинством. Можно спорить о том, из кого состоит это меньшинство; но, кто бы это ни был, без него бытие человечества утратило бы самую ценную, самую существенную свою долю. В этом не может быть ни малейшего сомнения, хотя Европа в течение целого столетия, подобно страусу, прячет голову под крыло, стараясь не замечать этой очевидной истины. Это не личное мнение, основанное на отдельных фактах и наблюдениях; это — закон «социальной физики», гораздо более непреложный, чем закон Ньютона. В тот день, когда в Европе восторжествует подлинная философия*) — единственное, что может спасти Европу, — челове-

*) Для господства философии вовсе не необходимо, чтобы философы правили, как требовал в свое время Платон; не нужно также, чтобы правители философствовали, как требовалось впоследствии. Оба требования в основе неверны. Для господства философии достаточно ее существования, т. е. чтобы философы были философами. За последние сто лет философы занимаются чем угодно, только не философией — они стали политиками, педагогами, литераторами или учеными.

ство снова поймет, что человек — хочет он этого или нет — самой природой своей призван искать высший авторитет. Если он находит его сам, то он — избранный; если нет, то он — «человек-массы» и нуждается в руководстве.

Стало быть, когда масса претендует на самочинную деятельность, то она тем самым восстает против собственной судьбы, против своего назначения; и так как именно это она сейчас и делает, то я и говорю о восстании масс. Ибо единственное, что может быть с полным правом и по существу названо восстанием, есть непринятие собственной судьбы, востание против самого себя. Восстание Люцифера было бы, строго говоря, не меньшим, если бы вместо претензии на место Бога — что ему не было предназначено — он заявил претензию на место последнего из ангелов, что ему тоже не было на роду написано. (Если бы Люцифер был русским, как Толстой, он, вероятно, избрал бы вторую форму восстания, которая не в меньшей степени направлена против Бога, чем первая, более известная). Масса выступает самостоятельно только в одном случае: когда она творит самосуд, линчует; ибо другого она не умеет. Не совсем случайно суд Линча родился в Америке; ведь Америка является в известном смысле раем для масс. Также не случайно, что сегодня, в эпоху господства масс, господствует также и насилие, что оно становится единственным доводом, возводится в доктрину. Я давно уже отметил, что насилие становится в наше время обычным явлением, нормой («Безвольная Испания», 1921). Сейчас этот процесс достиг полного развития и это хороший признак: это значит, что теперь процесс пойдет на убыль. Теперь насилие становится уже предметом современной риторики, излюбленной темой для пустых краснобаев. Когда какое-либо реальное историческое явление изживает самого себя, то оно ста-

новится добычей риторики и надолго остается ее пищей. Реальность, как таковая, давно уже умерла, но имя ее продолжает жить в устах риториков и, хотя оно — лишь слово, но оно все же сохраняет еще какую-то магическую силу.

Но, даже если престиж насилия, как цинично установленного образа правления, начинает падать, то мы все же остаемся под его властью, хотя и в иной форме. Я имею в виду самую серьезную опасность, грозящую сейчас европейской цивилизации. Как и все остальные угрожающие ей опасности, эта тоже родилась из недр самой культуры. Более того, она представляет собою одно из ее славных достижений: это наше современное государство. Мы встречаемся здесь снова с тем явлением, которое мы проследили в предыдущей главе, в случае с наукой: плодотворность принципов науки приводит к беспримерному прогрессу; но этот прогресс неизбежно вызывает специализацию, которая грозит задушить науку.

То же самое происходит и с государством.

Вспомним роль государства во всех европейских нациях в конце 18-го века. Она была ничтожна. Ранний капитализм и его промышленные организации — в которые впервые победоносно проникла новая рационализирующая техника — дали первый толчок росту общества. Появился новый социальный класс, численностью и силой превосходивший все предыдущие: б у р ж у а з и я. Эта буржуазия обладала одним важным качеством: практическим смыслом. Она знала толк в организации, обладала дисциплиной и методичностью в работе, она умела вести «государственный корабль». Эта метафора — изобретение самой буржуазии, которая ощущала самое себя, как океан, могучий и чреватый бурями. Вначале этот корабль был миниатюрен: всего было понемногу — и солдат, и чиновников, и денег. Он был сколочен еще в Сред-

ние века людьми, совсем непохожими на буржуазию: — д в о р я н а м и. Эта порода людей отличалась поразительной храбростью, даром управления и чувством ответственности. Им современные государства Европы обязаны своим существованием. Но при всей этой одаренности дворянам всегда нехватало одного — головы. Они обладали ограниченным умом, сентиментальностью, инстинктом, интуицией, словом были «иррациональны». Поэтому они не могли развить технику — для этого была необходима рационализация. Они не могли выдумать пороха — это было слишком кропотливо и скучно. Сами неспособные к созданию нового оружия, они допустили, чтобы горожане — буржуазия — обзавелись порохом (привозя его с Востока или еще откуда-то); и тогда горожане автоматически выиграли войну у благородных дворян, рыцарей, которые были так закованы в железо, что едва передвигались. Этим рыцарям не приходило в голову, что вечный секрет победы таится не столько в методах обороны, сколько в оружии нападения — секрет, снова раскрытый Наполеоном.*)

Государство есть прежде всего техника — техника общественного порядка и администрации. «Старый режим» конца 18-го века располагал очень слабым го-

*) Эта упрощенная картина великого исторического переворота, в котором буржуазия выбила дворянство из господствующего положения, принадлежит Ранке. Но, конечно, эта символическая и схематическая картина требует многих дополнений, чтобы отвечать действительности. Порох был известен с незапамятных времен. Заряжаемый ствол был изобретен кем-то в Ломбардии и не был в употреблении, пока не была отлита первая пуля. Дворяне мало пользовались огнестрельным оружием по причине его дороговизны. Только горожане, экономически лучше организованные, дали ему широкое применение. Однако буквально достоверно, что бароны, представленные средневековым войском бургундцев, потерпели решительное поражение от нового, не профессионального городского войска швейцарцев, главная сила которых была в дисциплине и в новой рациональной тактике.

сударственным аппаратом, который не мог противостоять напавшим со всех сторон волнам социальной революции. Несоответствие между силой государства и силой общества было настолько велико, что по сравнению с империей Карла Великого государство 18 века представляется нам выродившимся. Несомненно, что империя Каролингов располагала несравненно меньшими средствами, чем королевство Людовика 16-го, но, с другой стороны, общество эпохи Каролингов было совершенно бессильно*). Громадная разница между силой общества и силой государства была причиной ряда революций, начиная с 1789 вплоть до 1848.

Но с революцией буржуазия захватила в свои руки общественную власть и, применив свои неоспоримые способности к государственной деятельности, она на протяжении одного поколения создала мощное государство, которое быстро покончило с революциями. С 1848, т. е. с началом второго поколения буржуазных правительств, революции в Европе прекратились. И, конечно, не потому, чтобы для них не стало оснований, но потому, что не было средств. Силы государства и общества сравнялись. Прощай навсегда, революция! Отныне в Европе возможна лишь

*) Стоило бы остановиться на этом пункте и показать, что эпоха абсолютных монархий в Европе располагала очень слабым государственным аппаратом. Как это объяснить? Ведь общество только еще начинало развиваться. Государство было всемогуще — оно было абсолютно. Почему же оно не обеспечило за собою полноты власти? Одну из причин мы уже указали: неспособность наследственной аристократии к технической и административной рационализации. Но это не всё. Суть в том, что в эпоху абсолютизма аристократия не хотела усиления государства за счет общества. Вопреки общепринятому мнению, абсолютное государство инстинктивно уважало и ценило общество гораздо больше, чем сегодняшнее демократическое. Это последнее умнее, но у него меньше чувства исторической ответственности.

противоположность революции: государственный переворот. И все последующее, что выглядело как революция, было лишь замаскированными государственными переворотами.

В наше время государство стало могучей, страшной машиной, которая благодаря обилию и точности своих средств работает с изумительной эффективностью. Эта машина помещается в самом центре общества; и достаточно нажать кнопку, чтобы чудовищные государственные рычаги пришли в ход, захватывая и подчиняя себе все части социального тела страны.

Современное государство является наиболее очевидным и общеизвестным продуктом цивилизации. И крайне интересно и поучительно проследить отношение «человека-массы» к государству. Он видит государство, изумляется ему, знает, что это оно охраняет его собственную жизнь; но он не отдает себе отчета в том, что это человеческое творение, что оно создано известными людьми и держится на известных ценных свойствах и качествах, которыми люди вчера еще обладали, но завтра могут потерять. С другой стороны, человек-массы видит в государстве анонимную силу и, так как он чувствует себя тоже анонимом, то он считает государство как бы «своим». Представим себе, что в общественной жизни страны возникают затруднения, конфликт, проблема; человек-массы будет склонен потребовать, чтобы государство немедленно вмешалось и разрешило проблему непосредственно пустив в ход свои огромные непреодолимые средства.

В этом — величайшая опасность, угрожающая сейчас цивилизации: подчинение всей жизни государству, вмешательство его во все области, поглощение всей общественной спонтанной инициативы государственной властью; это означает уничтожение исторической самостоятельности общества, которая в конеч-

ном счете поддерживает, питает и движет судьбы человечества. Массы знают, что, когда им что-либо не понравится или чего-нибудь сильно захочется, то они могут достигнуть всего без усилий и сомнений, без борьбы и риска; им достаточно нажать кнопку и чудодейственная машина государства тотчас сделает, что нужно. Эта легкая возможность всегда представляет для масс сильное искушение. Масса говорит себе: «Государство — это я»; но это полное заблуждение. Государство тождественно с массой только в том смысле, в каком два человека равны между собой, потому что они оба не Иваны. Современное государство и массы совпадают только в том, что оба они — анонимы. Но так как человек массы действительно верит, что он государство, то он все в большей степени стремится под всякими предложениями пустить государственную машину в ход, чтобы подавлять творческое меньшинство, которое ему мешает всюду, во всех областях жизни — в политике, в науке, в индустрии.

Это стремление будет иметь роковые последствия. Творческие стремления общества будут все более подавляться вмешательством государства: новые семена не смогут приносить плодов. Общество будет принуждено жить для государства, человек — для правительственной машины. И так как само государство в конце концов только машина, существование и поддержание которой зависит от живой силы машиниста, то государство, высосав все соки из общества, обескровленное, само умрет ржавой смертью старой машины, более отвратительной, чем смерть живого организма.

Такова была плачевная судьба античной цивилизации. Римская Империя, созданная такими людьми как Юлий Цезарь и Клавдий, была без сомнения отличной машиной, далеко превосходившей старый рес-

публиканский Рим патрицианских фамилий. Однако — любопытное совпадение: как только Империя достигла полного развития, общественный организм начал разлагаться.

Уже во времена Антонинов (2-й век по Р. Х.) государство начинает подавлять общество своим бездушным могуществом, поработать его; вся жизнь общества отныне сводится к с л у ж е н и ю г о с у д а р с т в у и постепенно бюрократизируется. К чему это приводит? К постепенному упадку во всех областях жизни; богатство исчезает, деторождение падает. Тогда государство, для удовлетворения собственных нужд, начинает еще больше закручивать пресс, бюрократизация усиливается: идет уже милитаризация общества. Наиболее острой, безотлагательной потребностью государства становится его военная машина, армия. Первой задачей государства является безопасность страны (заметим, кстати: та самая безопасность, которая порождает психологию людей массы). Итак, прежде всего армия! Императоры Северы, родом из Африки, милитаризовали всю жизнь Империи. Тщетные усилия! Нищета все растет, женщины становятся все бесплоднее. Не хватает уже и солдат. После Северов армия начинает пополняться иностранцами.

Ясен ли нам теперь парадоксальный и трагический процесс этатизма? С целью лучше организовать свою жизнь общество создает государственный аппарат, и вот появляется «государство». Затем «государство» оказывается наверху, а общество отныне должно жить для государства.*) Но все же государство состоит еще из тех же членов общества. Однако, вскоре этих членов уже нехватает для поддержания государства и приходится брать иностранцев — далматов, германцев. Постепенно иностранцы становятся господами в государстве, а коренное население обращается в рабов этих пришельцев, с которыми у них нет ничего общего.

Вот к чему приводит экспансия государственного аппарата: народ обращается в горючее для питания государственной машины; костяк государства пожирает облегающее его живое тело нации; мертвая конструкция становится владельцем и хозяином жилого дома.

Кто это постиг, тот естественно почувствует тревогу, слыша, как Муссолини с апломбом вещал формулу, якобы только что чудесным образом открытую в Италии: «Всё для государства, ничего помимо государства, ничего против государства!»

Этого достаточно, чтобы убедиться, что фашизм — типичное движение людей массы. Муссолини нашел превосходно организованное итальянское государство; организованное не им, но как раз теми силами и идеями, с которыми он борется, — либеральной демократией. Он начал безжалостно истощать это государство. Я не могу здесь разбирать детально его достижения, но могу смело утверждать, что результаты, им достигнутые до сих пор, не могут идти в сравнение с тем, что сделано в области политики и администрации либеральными государствами. Если Муссолини чего-нибудь и достиг, то это настолько незначительно, незаметно и несущественно, что вряд ли может уравновесить то ненормальное увеличение власти, которое позволило ему использовать государственную машину до крайнего предела.

Этатизм является высшей формой политики насилия и прямого действия, когда она возводится уже в норму, в систему, когда анонимные массы проводят свою волю от имени государства и средствами государства — этой анонимной машины.

Европейские нации стоят перед тяжелым этапом

*) Вспомним последние слова Септимия Севера наследникам: «Будьте едины, платите солдатам и не заботьтесь об остальном».

острых внутренних кризисов, сложных проблем — правовых, экономических и социальных. Приходится опасаться, что государства, управляемые людьми массы, не остановятся перед тем, чтобы подавить независимость личности и групп и тем окончательно разбить наши надежды на будущий прогресс.

Конкретный пример такого механизма представляет собою одно из самых тревожных явлений последних 30 лет: огромный рост полиции во всех государствах. Эта мера очевидно вызвана общим ростом населения: современные большие города нуждаются в полицейской силе для регуляции движения своего населения. Теперь, когда власть в государстве находится в руках партии, эта полиция и ее лояльность является большим вопросительным знаком. История дает нам примеры весьма различного подхода к этому вопросу.

Когда около 1800 г. новая промышленность начала создавать новый тип человека — индустриального рабочего — с более преступными наклонностями, чем традиционные типы, Франция поспешила создать сильную полицию. Около 1810 года Англия по тому же поводу — роста преступности — вдруг обнаружила, что у нее нет полиции. У власти были консерваторы. Что они сделали? Создали полицейскую силу? Ничего подобного. Они предпочли мириться с преступлениями, как только могли. «Народ согласен лучше терпеть беспорядок, чем лишиться свободы».

«В Париже, — пишет Джон Вильям Уорд, — французы имеют отличную полицейскую силу, но они дорого платят за это удовольствие. Я предпочитаю видеть каждые 3 или 4 года как полдюжине парней рубят головы на Ратклиф Род, чем подвергаться домашним обыскам, шпионажу и всем махинациям мосье Фушэ».

Есть два разных представления о государстве. Англичанин предпочитает ограниченное государство.

XIV. КТО ПРАВИТ МИРОМ?

Итак — как я уже формулировал — развитие европейской цивилизации автоматически привело к «восстанию масс». С одной стороны, это факт положительный: это не что иное, как проявление чудесного повышения общего жизненного уровня в наше время. Но обратная сторона этого явления поистине ужасна: это не что иное, как глубокое моральное падение современного человечества. Рассмотрим теперь этот упадок морали с новой точки зрения.

1.

Сущность или характер новой исторической эпохи есть результат как внутренних перемен — изменений в человеке и в его духе — так и внешних перемен — формального, как бы механического рода. Наиболее важной из перемен второго рода является без сомнения перемещение власти, ибо оно влечет за собой также и перемещение духа.

Поэтому, если мы хотим понять какую-то эпоху, то первым нашим вопросом должно быть: кто правил тогда миром? Может статься, что род людской был тогда разделен на несколько отдельных, не сообщавшихся между собой групп, которые составляли независимые замкнутые миры. Во времена Мильтиада Средиземноморский мир не знал о существовании Дальневосточного мира. В таких случаях мы должны поставить наш вопрос: кто правит миром? — для каждого замкнутого мира отдельно. Но, начиная с 16 века, человечество было захвачено мощным процессом

объединения, которое в наши дни достигло небывалых пределов. Теперь нет уже больше изолированных групп, нет человеческих островов. В наше время тот, «кто правит миром», действительно распространяет свою власть на всю планету. В течение трех последних столетий эта роль принадлежала однородной группе европейских народов. Европа правила и под ее единым правлением мир жил единым стилем или, во всяком случае, всё более приближавшимся к единому.

Обычно этот стиль жизни называют «новейшей эпохой» — бесцветное, ничего не говорящее имя, за которым кроется подлинная реальность: эпоха гегемонии Европы.

Под «правлением» не надо понимать в первую очередь применение материальной силы, физического принуждения. Нормальные, прочные отношения между людьми, которые разумеются под словом «правление», никогда не покоятся на силе; наоборот, лишь на основании своего господства человек или группа людей получают в свои руки аппарат власти, являющийся силой. Случаи, в которых на первый взгляд сила кажется основой господства, при ближайшем исследовании оказываются лучшими доказательствами нашего тезиса. Наполеон насильно захватил Испанию и некоторое время держался там, но, строго говоря, он ни одного дня не правил Испанией. И это несмотря на то, что он обладал силой или, вернее, именно потому, что он действовал т о л ь к о силой. Надо отличать насильственный захват от естественного господства или правления. Правление есть нормальное проявление авторитета и оно всегда основано на общественном мнении — нынче, как и десять тысяч лет тому назад, среди англичан, как и среди бушменов. Ни одна власть в мире никогда не покоилась в сущности на чем-либо ином, как на общественном мнении.

Некоторые думают, что суверенитет общественно-го мнения открыт в 1789 году адвокатом Дантоном или в 13 веке св. Фомой Аквинским. В конце концов все равно — где и когда он был впервые осознан; но самый факт, что общественное мнение есть основная сила, из которой в человеческом обществе возникает явление господства — неоспорим. Эта истина так же стара, как и само человечество. Подобным же образом в физике Ньютона сила тяжести есть причина движения. Закон общественного мнения является законом всемирного притяжения для сферы политической истории. Только он делает возможной историю, как науку. Задача истории в том, как метко заметил Юм, чтобы показать, что сила общественного мнения — это вовсе не утопическое мечтание, но самая настоящая реальность, действующая постоянно и в каждый момент жизни общества. Ибо даже тот, кто хочет править, опираясь на янычар, зависит от того, какого мнения о нем эти янычары, и какого мнения его остальные подданные об этих янычарах.

В действительности нельзя править при помощи янычар. Талейран сказал Наполеону: «Штыки, государь, годятся для всего, кроме одного: на них нельзя сидеть». Правление — это не бряцание оружием, не угроза силой, это спокойное применение ее. Короче — править это значит с и д е т ь: на троне, в кресле министра, на Святом Престоле. Вопреки наивным представлениям, для правления нужна не столько сила, сколько умение крепко сидеть. Государство, в конце концов, держится на устойчивом общественном мнении; это вопрос статического равновесия.

Может подчас случиться, что нет никакого общественного мнения. Общество разбито на противоборствующие группы, с абсолютно противоположными мнениями и нет никаких данных для образования правящей власти. Но так как природа не выносит пусто-

ты, то пустое место, возникшее благодаря отсутствию общественного мнения, будет заполнено грубым насилием. Итак, лишь в крайнем случае насилие выступает как заместитель общественного мнения.

Поэтому, если мы хотим формулировать закон общественного мнения в общей форме, как бы закон притяжения в истории, то, принимая во внимание последний случай, мы приходим к давно известной, почтенной и бесспорной формуле: нельзя править против общественного мнения.

Итак мы приходим к заключению, что всякая власть основана на господствующем мнении, то есть на духе. Стало быть, в конце концов, власть есть не что иное, как проявление *духовной силы*. Это точно подтверждается историческими фактами. Всякая первобытная власть имеет «священный» характер, то есть она коренится в религиозной сфере; и в той же религиозной сфере мы находим — в первичной форме — всё то, что впоследствии принимает название духа, идеи, мысли, короче всё нематериальное, метафизическое.

В Средние Века это же явление повторяется в большем масштабе. Первым государством, первой общественной властью, образовавшейся в Европе, была Церковь, с ее специфическим, уже в самом имени ее отмеченным характером «духовной власти». От церкви и светская власть восприняла идею, что и она также была первоначально «духовной силой», господством определенных идей. И вот возникает «Священная Римская Империя». Таким образом получается соперничество двух властей одинаково духовного происхождения; и так как они не могут разграничить свои сферы по существу (обе духовны!), то они улаиваются разделить свои области во времени: одна берет себе временное, другая — вечное. Светская и религиозная власть одинаково духовны; но одна есть дух време-

ни — общественное мнение, земное, изменчивое; другая — дух вечности, мысль Бога, Его суждение о человеке и его судьбах.

Таким образом утверждение: в такую-то эпоху правит такой-то человек, такой-то народ, такая-то однородная группа народов — равносильно утверждению: в такую-то эпоху господствует в мире такая-то система мнений — идей, вкусов, стремлений, целей.

Что понимать под этим господством мнения? Люди обычно не имеют собственных мнений; они принимают их готовыми из окружающей среды, автоматически; идеи вдавливаются в них подобно тому, как смазочное масло вдавливается в машину. Поэтому необходимо, чтобы какой-то дух обладал властью и пользовался ею, чтобы снабжать надлежащим мнением тех, кто своего мнения не имеет, то есть большинство людей. Без мнений человеческое общество обратилось бы в бесформенную массу, в историческое ничто; жизнь утратила бы всякую структуру, организацию. Следовательно: без власти духа, без которого, кто правит, кто повелевает, человеческое общество обращается в хаос; и хаос царит в нем постольку, поскольку нет власти, нет правителя. И соответственно, каждая смена власти, смена правящих является вместе с тем сменой мнений, сменой исторического центра тяготения.

Вернемся теперь к началу. Европа — этот конгломерат духовно родственных народов — в течение нескольких веков правила миром. В Средние века во временном, светском мире такого единого правления не было — так бывало во все периоды «средневековья» в мировой истории. Поэтому это была эпоха без «общественного мнения», эпоха относительного хаоса, относительного варварства. Есть эпохи «эмоциональные», когда люди любят, ненавидят, увлечены или полны отвращения, и всё это горячо, страстно; но за-

то идеи, мнения — почти отсутствуют. Эти эпохи не лишены своей прелести, своего очарования. Но в великие исторические эпохи человечество живет идеей; это эпохи общественного мнения, духовного порядка. Позади Средних Веков лежит эпоха, в которой, как и в новое время, мы находим властелина, хотя бы только и на ограниченной части мира. Это — Рим, великий правитель, который установил порядок в области Средиземного моря и в прилегающих землях.

Сейчас, после великой войны, слышатся речи о том, что Европа больше не правит миром. Чувствуем ли мы всё значение этого диагноза? Он возвещает нам грядущую смену власти. В каком направлении? Кто явится наследником Европы в господстве над миром? Но верно ли вообще, что кто-то явится? А что, если никого не найдется? Что тогда?

2.

В мире в каждый момент происходит бесконечно много событий. Всякая попытка передать в словах всё то, что сейчас действительно происходит, может вызвать лишь ироническую улыбку. Поэтому нам остается лишь одно: построить самим, по нашему разумению, реконструкцию действительности, предположить, что она отвечает истине и пользоваться ею, как схемой, сеткой, системой понятий, которая дает нам хоть приблизительное подобие действительности. Это обычный научный метод, единственный, каким пользуется интеллект. Когда мы видим нашего друга Петра, идущего по садовой дорожке, и говорим: «это Петр» — мы сознательно, иронически делаем ошибку. Ибо для нас Петр — это схематический комплекс черт физических и моральных, его манеры и

поведение, то, что называется характер; но в действительности, подлинный Петр временами совсем не похож на нашу схему, наше представление о Петре.

Каждое понятие, как самое простое, так и самое научное, всегда охвачено оскалом иронии над самим собой, как брильянт охвачен зубцами своей золотой оправы. Оно говорит с серьезным видом: «это — А, а вот это — Б». Но это напускная серьезность человека, готового разразиться смехом. Оно знает отлично, что, строго говоря, это не А, а вот то — не Б. То, что понятие думает серьезно про себя — не совпадает с тем, что оно говорит. И в этой двойственности — причина иронии. В действительности оно думает так: «Я знаю, что, строго говоря, это — не А, а то — не Б; но для практических целей, в дальнейшем, я условно буду называть их А и Б».

Такая теория рационального познания была бы неприемлема для древнего грека. Ибо грек верил, что в разуме, в понятиях, он обретает подлинную реальность. Мы, напротив, полагаем, что разум и понятия — это только предметы домашнего обихода человека, которыми он пользуется для того, чтобы определить свое положение среди бесконечной и крайне проблематической действительности — своей жизни. Жизнь — это борьба с окружающим нас миром вещей за утверждение самих себя в нем.

«Понятия» — это наша стратегическая оборона, наше оружие, которым мы отражаем наступление вещей на нас. Исследуя внутреннее ядро любого понятия, мы обнаруживаем, что оно ровно ничего не говорит нам о самом предмете, как таковом; оно лишь определяет его отношение к н а м, к человеку: оно показывает: что человек может с «ним» сделать или что «оно» может человеку сделать.

Такое условное определение содержания «понятия», как чего-то живого, всегда способного принять

активное или пассивное участие в нашей жизни, по-видимому никем еще до сих пор не было сформулировано. Но оно кажется мне логическим выводом философского исследования, начало которому положено Кантом. Если, пользуясь им, мы проследим всё прошлое философии вплоть до Канта, то мы увидим, что в о с н о в н о м все философы говорили одно и то же. В конце концов каждое открытие в философии есть не что иное, как обнаружение, вынесение на поверхность того, что до сих пор было скрыто в глубине.

Однако такое введение вряд ли соответствует нашей основной теме, далекой от чистой философии. Я просто хочу сказать, что в историческом мире сейчас происходит следующее.

В течение трех столетий Европа бесспорно правила миром; а сейчас она не может сказать про себя: правит ли она еще и будет ли она править завтра? Свести необозримое множество событий и факторов, из которых складывается историческая реальность сегодняшнего дня, к такой короткой формуле, значит несомненно допустить сильное упрощение, то есть преувеличение; поэтому я должен был напомнить, что всякое мышление является вольным или невольным преувеличением. Кто боится преувеличений, должен молчать; более того: он должен остановить свое мышление, подавить свой интеллект.

Я действительно верю, что приведенная формула передает истинную сущность того, что теперь в мире происходит; всё остальное — лишь следствия, условия, симптомы и анекдоты на ту же тему.

Я не утверждаю, что господству Европы у ж е пришел конец, я сказал только, что с некоторого времени в Европе существует сильное сомнение в том, что она правит еще сегодня и будет править завтра. Вместе с тем у остальных народов земли появляется

соответствующее настроение: сомнение в том, что ими сейчас кто-то управляет. Они в этом тоже не уверены.

В последние годы (20-е) много говорилось о закате Европы. Следовало бы, наконец, перестать вспоминать Шпенглера каждый раз, как только речь заходит об этом. Тема эта была предметом общих разговоров еще до появления его книги, и сама его книга обязана своим успехом именно тому обстоятельству, что тема эта, вызывая тревогу, уже бродила во всех головах под различными именами.

Об упадке Европы говорилось так часто, что, наконец, многие приняли это за совершившийся факт. Не то, чтобы они были всерьез в этом убеждены, но они привыкли верить этому, хотя по совести говоря, их память никогда не могла показать им этого факта с полной очевидностью и указать на определенный момент. Книга Вальдо Франка «Новое открытие Америки» целиком основана на предположении, что Европа находится при последнем издыхании. Притом Франк даже не считает нужным остановиться на этом вопросе и подвергнуть такое грандиозное событие, служащее основанием для всех его выводов, критическому анализу. Без всякой проверки он исходит из этого предположения, как из бесспорного факта. И эта бесцеремонность в отношении исходного пункта заставляет меня думать, что сам Франк вовсе не убежден в упадке Европы. Он пользуется этой предпосылкой как трамплином. Общие места часто служат трамплином в интеллектуальном обиходе. Франк — не исключение, так поступают многие и, прежде всего, целые народы.

Современный мир ведет себя по ребячески. В школе, когда учитель выходит на минуту из класса, мальчишки срываются с узды. Каждый спешит сбросить с себя гнет, вызываемый присутствием учителя, и освободиться от ярма предписаний; все довольны, все сво-

бодны, все чувствуют себя полными хозяевами своей судьбы. Но когда предписания, регулирующие занятия и обязанности, отменены, то оказывается, что юной ватаге собственно нечего делать; у нее нет ни серьезной работы, ни осмысленной задачи, ни постоянной цели; предоставленные самим себе молодые люди могут только скакать козлами и стоять на голове.

Именно такую безутешную картину представлял собою теперь европейские нации. Ввиду так называемого «заката» Европы и отставки ее от мирового господства, большие и малые нации скачут козлами, кривляются, паясничают или же надуваются, пыжались, стремясь разыгрывать взрослых, которые сами определяют свою судьбу. Такова картина «национализмов», которые повсюду растут, как грибы.

В предыдущих главах я пытался нарисовать тип нового человека, который сейчас господствует в мире; я назвал его «человеком-массы» и показал, что отличительная черта его состоит в том, что, чувствуя себя заурядным, он провозглашает права заурядности и отказывается признавать все высшие инстанции. Если это настроение восторжествует в каждом народе, то очевидно оно явится господствующим и во всех нациях в целом. Таким образом появляются «народы-массы», которые решительно восстанут против великих творческих народов, против того отборного меньшинства человеческого рода, которое создало историю. Поистине смешно, когда та или иная из мелких республик вытягивается на цыпочки, ругает из своего уголка Европу и возвещает ее уход из мировой истории.

Что же происходит? Европа создала систему жизненных норм, ценность и плодотворность которых доказана столетиями. Эти нормы вовсе не являются наилучшими из возможных, но они без сомнения являются обязательными до тех пор, пока не созда-

ны или, по крайней мере, не намечены новые. Раньше, чем их отменить, надо создать новые. Теперь «народы-массы» объявляют нашу систему норм, составляющую основу европейской цивилизации, за изжитую; но так как они не способны создать новую, то они не знают, что им предпринять, скачут козлами и становятся на голову.

Когда в мире исчезает правитель, то первым следствием этого является то, что восставшие подданные оказываются без занятий, без заданий, без жизненной программы.

3.

Цыган пришел на исповедь. Священник спрашивает его, знает ли он десять заповедей Господних. Цыган отвечает: «Я хотел было их выучить, отец мой, но у нас поговаривают, будто их отменяют».

Не напоминает ли этот анекдот современное положение мира? Поговаривают, что заповеди европейской культуры больше не действительны, и вот человечество — как индивиды, так и народы — пользуются этим предлогом, чтобы жить без заповедей. Ибо нет никаких иных заповедей, кроме европейских. Дело сейчас обстоит не так, как раньше, когда новые, созревшие нормы вытесняли старые, когда свежий пыл и энергия приходили на смену былому, уже остывшему энтузиазму. Это было бы естественно. В таком случае старое оказывается старым не потому, чтобы оно одряхлело, но потому, что появился новый принцип, который уже благодаря своей новизне делает своего предшественника старым. Если бы у нас не было детей, мы не замечали бы, что стареем или замечали бы это гораздо позднее. Нечто подобное происходит и с механизмами. Автомобиль десятилетней давности кажется более старым, чем двадцатилетний

локомотив только потому, что изобретения в автомобильной технике идут более быстрым темпом. Закат, вызванный восходом новой юности, есть признак здоровья.

Но то, что сейчас происходит в Европе, есть нечто нездоровое и странное. Европейские заповеди уже потеряли свою силу, но никаких новых еще нет на горизонте. Европа, говорят нам, теряет свое господство, но не видно никого, кто бы занял ее место. Под Европой мы понимаем обычно прежде всего треугольник — Францию, Англию и Германию. В этой части земного шара созрела та культура, которая организовала и оформила современный мир. Если эти три народа теперь, как утверждают, находятся в закате, и их жизненные цели и установки потеряли обязательную силу, то нет ничего удивительного в том, что мир очутился в моральном хаосе.

И это голая истина. Весь мир — народы и индивиды — деморализован. Некоторое время такая «свобода от морали» кажется занимательной, даже очаровательной. Низшие классы чувствуют себя освобожденными от бремени. Ибо с тех пор, как заповеди были высечены в камне и бронзе, они всегда сохраняли характер бремени. Приказывать — значит возлагать бремя обязанности, а низшим во всем свете уже надоело нести возлагаемые на них обязанности; и они с радостными лицами наслаждаются нашей эпохой, освободившей их от бремени заповедей. Но их праздник непродолжителен. Без заповедей, которые обязывают нас к определенному образу жизни, наше существование становится бесцельным. Именно в таком ужасном духовном состоянии оказывается сейчас лучшая часть нашей молодежи. Благодаря тому, что она чувствует себя свободной от всяких уз и запретов, она ощущает пустоту. Бесцельное существование — это отрицание жизни, это хуже, чем смерть. Ибо жить —

это значит выполнять какое-то задание; и поскольку мы уклоняемся от того, чтобы посвятить нашу жизнь чему-нибудь, мы ее опустошаем. Вскоре по всей планете поднимется к звездам вопль, требование кого-то, кто взял бы на себя власть, кто налагал бы обязанности и распределял бы задания.

Это говорится тем, кто с детским легкомыслием возвещает, что Европа больше не правит миром. Править — значит задавать людям работу, ставить их на свои места, назначенные им судьбой, и этим предупреждать извращения, к которым приводит праздная, пустая, бесцельная жизнь.

Отставка Европы не имела бы такого значения, если бы нашелся кто-то, способный ее заместить. Но никого нет на примете. Нью-Йорк и Москва не представляют собою ничего нового по сравнению с Европой. Они не больше, как окраины европейского мира, которые при отрезанности их от центра лишены значения. Говорить о Нью-Йорке и о Москве сейчас еще очень трудно, ибо никто в сущности еще не знает — что они такое; несомненно только одно, что оба они еще не сказали решающего слова. Но если еще и нет полного знания, то всё же мы знаем достаточно, чтобы судить о их общем характере. Бесспорно оба принадлежат полностью к тому разряду явлений, которые я выше назвал «историческим камуфляжем». «Камуфляж» есть нечто, в действительности совсем иное, чем оно кажется. Его внешность не выявляет его сущности, но скрывает ее. Поэтому он вводит людей в заблуждение, от которого избавлен лишь тот, кто уже заранее знал вообще о явлении камуфляжа. Это подобно явлению миража: предварительное знание о нем исправляет обман глаза.

При каждом историческом камуфляже нужно различать два слоя: глубинный — подлинный, основной; и поверхностный — мнимый, случайный. Москва при-

крывается тонкой пленкой европейских идей — марксизмом, надуманным в Европе применительно к европейским делам и проблемам; а под этой пленкой — народ, который отличается от Европы не только этнически, но, что еще важнее, своим возрастом: народ, еще не перебродивший, юношеский народ. Если бы марксизм победил в России, где нет никакой индустрии, то это было бы величайшим парадоксом, какой только мог случиться с марксизмом. Но этого парадокса нет, так как марксизм не победил. Россия настолько же марксистская, насколько германцы Священной Римской Империи были римлянами. Новые народы не имеют «идей». Если они вырастают в среде, где существует — или недавно еще существовала — старая цивилизация, то они перенимают идеи этой цивилизации. Вот тут-то и возникает камуфляж. Как я уже в другом месте отметил, существует два основных типа развития народов. Есть народы, родившиеся в мире, еще не имевшем цивилизации; таковы египтяне и китайцы. У них всё свое, коренное, почвенное; их стиль прям и ясен. Другие народы появляются и развиваются в пространстве, уже насыщенном цивилизацией долгого исторического прошлого. Таков был Рим, который создавался на побережье Средиземного моря, уже напитанном греко-ориентальной культурой. Поэтому все повадки римлян лишь наполовину их собственные, а наполовину заимствованные, заученные. Такие заученные проявления всегда двусмысленны; их подлинный смысл всегда лежит не прямо за ними, а где-то сбоку. Кто делает заученный жест — хотя бы пользуется иностранными словами, — тот понимает под ними свое собственное, переводит иностранное выражение на свой родной язык. Чтобы раскрыть камуфляж, нужен также взгляд «сбоку», взгляд переводчика, который кроме текста имеет еще и словарь. Я ожидаю появления книги, которая переведет сталинский марксизм на язык русской истории. Ибо то,

что составляет его силу, кроется не в коммунизме, но в русской истории. Поживем — увидим! Несомненно лишь одно — что России нужны еще столетия, прежде чем она сможет претендовать на ведущую роль. Так как она пока еще не имеет своего собственного «слова», то она должна была прикрыться европейским учением — марксизмом. И так как она переживает кипучую юность, то ей достаточно было этой фикции: юность не нуждается в разумных основаниях для проявления жизненной энергии, ей нужен только предлог.

Почти так же обстоит дело с Нью-Йорком. Его сегодняшняя сила также не основана на каком-то своем «слове», учении, которое он проводил бы в жизнь. В конце концов, всё сводится к технике. Какое совпадение: снова европейское, а не свое, американское изобретение. Техника была создана Европой в 18 и 19 столетиях, как раз в то время, когда создавалась Америка. Нас серьезно уверяют, что сущность Америки лежит в ее практическом и техническом восприятии жизни. Гораздо вернее было бы сказать: Америка, как и всякая колония, есть омоложение старых рас, в данном случае европейской. Подобно России — хотя и по другим причинам — США являют собою пример того особого исторического феномена, который мы называем «новым народом». Это могут счесть лишь фразой и однако это факт столь же реальный, как юность человека. Америка сильна своей юностью, которая отдала себя на служение современной заповеди «Технизации», но с таким же успехом она могла бы отдаться служению буддизму, если бы он являлся лозунгом нашей эпохи. Этим Америка только начинает свою историю. Ее испытания, затруднения и конфликты только еще разворачиваются. Еще многое должно придти, в том числе и то, что совершенно противоречит практицизму и технике. Америка моложе России. Я всегда утверждал, что американцы — это при-

митивный народ, истинный характер которого закамфлирован новейшими изобретениями. Я опасался, что преувеличиваю, но теперь Вальдо Франк в своем «Новом открытии Америки» откровенно заявляет то же самое. Америка еще не страдала и было бы иллюзией считать, что она уже обладает качествами, необходимыми для того, чтобы править миром.

Кто не хочет придти к пессимистическому выводу, что некому править, и что следовательно исторический мир снова обратится в хаос, тот должен вернуться к исходному пункту и серьезно спросить себя: верно ли, что Европа находится на закате? Что она слагает с себя господство, отрекается от него? Не может ли этот кажущийся закат оказаться благотельным кризисом, который позволит Европе стать подлинной Европой? Не был ли очевидный упадок европейских наций неизбежной необходимостью для того, чтобы в один прекрасный день возникли Соединенные Штаты Европы и государственный плюрализм Европы сменился бы, наконец, формальным единством ее?

4.

Распределение функций управления и подчинения является решающим в каждом обществе. Если вопрос о том, кто приказывает и кто повинует, не выяснен, то всё идет негладко, туго. Даже внутренняя, интимная жизнь каждого индивида (за исключением гениальных личностей) этим нарушается и искажается. Если бы человек был одиночкой, лишь случайно вступающей в общение с остальными людьми, то он, вероятно, мог бы избежать тех потрясений, которые возникают в результате кризисов власти. Но так как человек по своей внутренней природе — существо социальное, то на его личность влияют также и те события, которые непосредственно касаются толь-

ко общества, как целого. Поэтому анализ отдельного индивида может дать нам достаточный материал для суждения о том, как в его стране ставится проблема управления и подчинения.

Было бы интересно и даже поучительно проделать такой опыт, разобрав индивидуальный характер среднего испанца. Однако эта операция была бы настолько неприятна и подавляюща, что я отказываюсь от нее и ограничиваюсь только выводами. Мы обнаружили бы огромное падение нравов, распущенность, огрубение, деградацию современного испанца; ибо Испания уже несколько веков живет с нечистой совестью в проблеме управления и подчинения. Падение нравов происходит оттого, что пороки становятся привычным, постоянным явлением, оставаясь в глазах населения все же пороками. И, поскольку порочность и ненормальность не могут быть превращены в здоровый порядок, постольку для индивида не остается иного выхода, как самому приспособиться к создавшемуся положению и стать участником пороков и правонарушений. Все народы переживали периоды, когда какой-то агрессор пытался захватить власть над ними; но здоровый инстинкт тотчас заставлял их наперечь все силы, чтобы отразить это неправомерное притязание. Они восставали против беззакония, подавляли его и тем восстанавливали свою общенародную мораль. Но испанцы поступали наоборот: вместо того, чтобы противиться такой власти, которая была неприемлема для их внутреннего чувства, они предпочли извратить все свое существо и бытие, приспособив его к современной неправде. Пока в Испании царит такое положение, напрасно ожидать чего-либо от испанцев. Сила и гибкость, необходимые для нелегкой задачи достойного утверждения себя в истории, отсутствуют в обществе той страны, правительственная власть которой построена на лжи.

Поэтому достаточно простого сомнения, легкого колебания в вопросе о том, кто правит миром, для того, чтобы повсюду — как в общественной, так и в частной жизни — началось нравственное разложение.

Человеческая жизнь, по самой природе своей, должна быть чему-то посвящена, вложена в какое-то дело, ответственное или скромное, где ее ждет блестящая или будничная судьба. Наше бытие подчинено удивительному, неумолимому условию. С одной стороны, человек живет самим собою и для себя. С другой стороны, если он не направит свою жизнь на служение какому-то общему делу, то его жизнь будет скомкана, она потеряет цельность, напряженность и форму. Мы видим сейчас, как многие заблудились в собственном внутреннем лабиринте, потому что им нечему себя посвятить. Все заповеди, все приказы потеряли силу. Такое положение могло бы кое-кому показаться идеальным, так как каждый абсолютно свободен делать все, что ему вздумается. В таком же положении находятся и целые народы. Европа ослабила вожжи, которыми она управляла миром. Но результаты оказались обратными тому, что ожидалось. Жизнь, посвященная самой себе, потеряла себя, стала пустой, бесцельной, ненужной. И так как ей нужно чем-то себя наполнить, то она выдумывает себе пустые занятия, не вызывающие искренних внутренних переживаний. Сегодня ее тянет к одному, завтра к другому, противоположному. Жизнь потеряна, ибо она оказалась в изоляции. Голый эгоизм неизбежно заводит в лабиринт. И это вполне понятно, так как подлинная жизнь должна быть к чему-то устремлена, иметь какую-то цель. Эта цель — не мое стремление, не моя жизнь; это есть нечто, чему я посвящаю мою жизнь, она таким образом находится вне жизни, где-то дальше. Если я посвящаю свою жизнь исключительно себе самому и живу эгоистом, то я не продвигаюсь

вперед и никуда не прихожу; я вращаюсь на одном месте, в замкнутом кругу. Это и есть лабиринт — путь, который никуда не ведет, который теряется сам в себе, ибо он только блуждание в самом себе.

После первой мировой войны европейец замкнулся в самом себе; у него больше ничего нет впереди, ни для себя, ни для других. Поэтому исторически мы стоим сейчас на том же месте, что и десять лет тому назад.

Управлять, приказывать — не так-то просто. Приказ — это давление, оказываемое на других. Но это еще далеко не все: если бы это было все, то это было бы просто насилие. Нельзя забывать, что приказ имеет две стороны: приказывают кому-то и приказывают что-то. И этим актом лицо, получившее приказ, привлекается к участию в каком-то деле, в конце концов — в процессе творчества истории. Каждая власть, каждое правительство имеет свою жизненную программу, точнее свою программу правления. Как сказал Шиллер:

«Когда короли возводят постройки, возчикам есть работа».

Поэтому мы не согласны с тем банальным взглядом, который видит за действиями великих людей и народов только эгоистические мотивы. Вообще быть чистым эгоистом не так-то легко, и такие типы никогда не добивались успеха. Кажущийся эгоизм великих народов и великих людей есть не что иное, как неизбежная твердость, присущая каждому, кто свою жизнь посвятил какому-то делу. Если нам действительно предстоит что-то сделать, если мы должны посвятить себя служению какой-то цели, то от нас нельзя требовать, чтобы мы уделяли внимание мелочам и предавались при каждом случае проявлениям альтруизма.

Это сомнение в том, что кто-то еще правит миром, сейчас ощущается только в Европе. Но положение

ние станет угрожающим, когда это сомнение перекинется и к остальным материкам и народам (исключая разве самых юных, находящихся еще в своей доисторической фазе). Однако еще опаснее, что это «топтание на месте» может совершенно деморализовать самих европейцев. Я говорю так не потому, что я сам европеец, и не потому, что мне безразличны судьбы мира, если он будет возглавляться не европейцами. Отставка Европы не тревожила бы меня, если бы налицо была уже другая группа народов, способная заместить Европу в роли правителя и вождя планеты. Я даже не требую так много. Я удовлетворился бы тем, что никто не правит в мире, если бы при этом не улетучились все достоинства и таланты европейского человека.

Но увы! Это неизбежно. Стоит только европейцу привыкнуть к тому, что он больше не управляет, и через полтора поколения старый континент, а за ним и целый свет, погрузятся в нравственное оупение, духовное бесплодие и всеобщее варварство. Только сознание своей ведущей роли, своей ответственности, и чувство дисциплины, отсюда вытекающее, могут держать духовные силы Запада в должном напряжении. Наука, искусство, техника и всё остальное могут процветать только в тепличной атмосфере, созданной о щ у щ е н и е м с в о е г о г о с п о д с т в а. Как только оно угаснет, европеец начнет постепенно падать всё ниже и ниже. Он утратит ту несокрушимую веру в самого себя, которая делала его столь смелым, сильным и упорным в овладении великими новыми идеями. Неспособный более к творческому взлёту, европеец погрязнет во вчерашнем, обыденном, в рутине и превратится в безнадежно будничное, педантичное, надутое существо, подобно грекам периода упадка или эпохи Византии.

Творческая деятельность требует общего высоко-

го умственного и морального уровня жизни, высокой дисциплины и постоянных стимулов для сохранения сознания человеческого достоинства.

Творческая жизнь наполнена энергией и она возможна лишь в одном из двух положений: либо человек сам правит, то есть приказывает; либо он живет в мире, которым правит кто-то другой, за кем это право всеми признано; итак, человек либо приказывает, либо подчиняется приказу. Но подчиняться не значит: терпеть, сносить — это было бы унижением; наоборот, подчиняться это значит: уважать правителя, следовать за ним, поддерживать его, радостно становиться под его знамя.

5.

Вернемся теперь к исходному пункту нашего исследования: к тому странному факту, что в течение последних лет так много говорят об упадке Европы. Уже то обстоятельство, что этот упадок открыт не иностранцами, а самими европейцами, бросается в глаза. Когда за пределами старого материка никто еще об этом и не думал, в Англии, Германии и Франции нашлись люди, которые пришли к тревожной мысли: не стоим ли мы перед закатом Европы? Печать подхватила эту мысль, и сегодня весь свет говорит о европейском декадансе, как о неоспоримом факте.

Но спросите этих глашатаев упадка, на каких конкретных, осязаемых данных они основывают свой диагноз? Они тотчас начнут преувеличенно жестикулировать и разводить руками, как делают люди, потерпевшие крушение. В сущности они сами не знают, за что им уцепиться. Единственное, что у них имеется в доказательство упадка Европы, это экономические затруднения, стоящие перед всеми европейскими нациями. Но когда дело доходит до того, чтобы точнее

определить характер этих затруднений, то оказывается, что ни одно из них не угрожает серьезно производительным силам Европы, и что старый континент переживал и гораздо более тяжелые кризисы.

Разве немцы или англичане не чувствуют себя теперь в состоянии производить больше и лучше, чем раньше? Конечно, да. И очень важно несколько подробнее разобрать поведение англичан или немцев в экономической области. Ибо замечательно, что их бесспорная душевная депрессия вызвана вовсе не тем, что они чувствуют себя неспособными, но, наоборот, тем, что, сознавая себя более способными, чем раньше, они натываются на некоторые фатальные преграды, которые мешают им осуществить то, что вполне в их силах. Этими преградами для развития германского, французского, английского хозяйства являются политические границы этих стран. Затруднения коренятся не в экономических проблемах, но в том, что формы общественной жизни, в которых должна развиваться экономика, не соответствуют размаху этой экономики. Ощущение упадка и бессилия — которое, несомненно, отравляет нашу жизнь — проистекает именно из этого несоответствия между огромными возможностями сегодняшней Европы и той формой политической структуры, в рамках которой силы Европы вынуждены действовать. Жизненный импульс, энергия, необходимые для разрешения насущных проблем, так же велики, как и раньше; но они стеснены узкими перегородками, которые разделяют материк Европы на ряд мелких государств. В этом вся причина пессимизма и депрессии: Европа сейчас напоминает огромную птицу, которая отчаянно бьется могучими крыльями о железные прутья своей клетки.

Подтверждение этому мы находим и в других областях, весьма далеких от экономики, и тем не менее попавших в такое же положение. Так, например, в об-

ласти интеллектуальной. Сегодня каждый «интеллектуал» в Германии, в Англии или во Франции ощущает, что границы его государства стесняют его, он задыхается в них; его национальная принадлежность является лишь ограничением, умалением. Германский профессор уже сознает топорность своих произведений, к которой его принуждает окружающая его публика и ему нехватает гибкости и элегантности, свойственной французскому или английскому писателю. И, наоборот, парижский литератор начинает отдавать себе отчет в том, что галльские литературные традиции словесного формализма уже исчерпаны, и он охотно заменил бы их — сохранив лишь лучшие их черты — некоторыми достоинствами германского профессора.

То же самое происходит и во внутренней политике. Жгучий вопрос — почему политическая жизнь во всех крупных государствах Европы стоит так низко — до сих пор не анализирован и удовлетворительного ответа на него нет. Говорят, что демократические учреждения утратили популярность. Вот это-то и требует объяснения, ибо эта утеря имеет крайне странный характер. Во всех государствах бранят парламент и, однако, нигде не пытаются его упразднить. И нет никакого плана — даже утопической идеи — новой формы государственного устройства, которая хотя бы в теории казалась лучше современной. Значит, это не так уж достоверно, что парламент отслужил свой век. Зло не в самих учреждениях, которые являются лишь инструментами общественной жизни, но в целях, для которых ими пользуются. Отсутствуют программы, отвечающие уровню и возможностям современного европейского бытия.

Здесь перед нами оптический обман, который нужно раз и навсегда исправить, ибо проблема парламентаризма вызывает постоянно самые нелепые высказывания. Есть целый ряд серьезных возражений против

традиционной парламентской практики; но при ближайшем рассмотрении оказывается, что ни одно из них не приводит к заключению, что парламент должен быть упразднен; они указывают, что он должен быть реформирован. Тем самым парламент признается необходимым и жизнеспособным. Сегодняшний автомобиль преодолел все возражения, какие выдвигались против него в 1910 г. Однако всеобщее разочарование в парламенте проистекает не из этих возражений. Говорят: парламент негоден! Позвольте спросить: негоден к чему? Годность есть способность инструмента выполнить задание, достигнуть цели. В данном случае целью является разрешение общественных проблем в государстве. Поэтому каждый, кто называет парламент непригодным, должен указать иной способ решения современных общественных проблем. Так как иного способа ни у кого нет, и даже теоретически этот вопрос еще не уяснен, то нет никакого основания ставить парламентаризм к позорному столбу. Полезнее было бы вспомнить, что в течение всей истории не было создано ничего более грандиозного, чем парламентарные государства 19 века. Этот факт настолько очевиден, что лишь крайняя глупость позволяет его не замечать. Таким образом, можно говорить о настоятельной необходимости радикальной реформы Законодательного Собрания с целью повысить его дееспособность, но вовсе не о его бесполезности.

Разочарование в парламенте не имеет ничего общего с его общеизвестными недостатками и даже с самим парламентом, как политическим инструментом. Оно проистекает из того, что европеец не знает, к чему использовать это учреждение.

Он разочаровался в традиционных целях общественной жизни. Он не делает себе больше иллюзий из национального государства, в котором он чувствует себя ограниченным, на подобие пленника. Если вни-

мательно присмотреться к этому общеизвестному факту, то мы заметим, что в большинстве стран граждане не питают больше уважения к собственному государству, будь это Англия, Германия или Франция. Поэтому бесцельно менять детали государственной структуры: дело не в них, а в самом государстве — оно стало слишком малым.

Впервые европеец в своей политической, экономической и духовной деятельности наталкивается на границы своего государства; впервые он чувствует, что его жизненные возможности непропорциональны размерам того политического образования, в которое он включен. И тут он делает открытие, что быть англичанином, немцем или французом значит быть провинциалом. Ему приходит на ум, что он как бы уменьшился по сравнению с прошлым, ибо раньше англичанин, француз, немец думали про себя, что они — это вселенная. Здесь, как мне кажется, лежит подлинная причина того ощущения упадка, которое мучает европейца. Эта причина носит чисто субъективный, иллюзорный характер; это парадокс, так как иллюзия упадка возникла из того, что способности человека возросли и старая организация стала для них тесна.

Чтобы пояснить сказанное на конкретном примере, возьмем хотя бы автомобильное производство. Автомобиль — чисто европейское изобретение; однако в продукции на первом месте сейчас Америка. Вывод: европейская машина в упадке. И тем не менее европейские техники и промышленники ясно видят, что преимущества американской продукции объясняются вовсе не превосходством людей за океаном, а просто тем фактом, что американская промышленность работает без всяких ограничений на свой рынок в 120 миллионов населения. Представим себе, что европейский завод имел бы беспрепятственный сбыт во

все европейские страны с их колониями и зонами влияния; несомненно, его продукция, рассчитанная на сбыт населению в 500-600 миллионов людей, далеко превзошла бы фабрикаты Форда. Исключительное превосходство американской техники почти целиком является результатом величины и однородности ее рынка. Рационализация производства появляется автоматически, как следствие расширения рынка.

Итак, действительное положение Европы может быть сформулировано следующим образом: ее долгое и блестящее прошлое привело ее к новой жизненной стадии, где все размеры возросли; но ее структура, унаследованная от прошлых времен, оказывается теперь карликовой и тормозит ее развитие. Европа возникла, как комплекс малых наций. Идея нации и национальное чувство были ее наиболее характерными достижениями. Теперь Европа стоит перед необходимостью преодолеть самоё себя. Вот схема грандиозной драмы, которая должна разыгаться в ближайшие годы. Сможет ли Европа стряхнуть с себя пережитки прошлого или она навсегда останется их пленницей? Ибо в истории уже были примеры, когда великая цивилизация умирала только потому, что она не смогла во время отказаться от изжитой традиционной идеи государства и найти ей замену.

6.

В другом своем труде я исследовал агонию и смерть греко-римского мира и ссылаюсь в деталях на сказанное там.*) Сейчас я хотел бы подойти к этой теме с другой точки зрения.

Мы находим греков и римлян, при появлении их на арене истории, живущими в городах (*urbs, polis*),

*) "Sobre la muerte de Roma", "El Espectador", VI.

на подобие пчел в улье. Этот факт, необъяснимый и таинственный сам по себе, мы должны принимать как данность, из которой мы должны исходить, подобно тому, как зоолог исходит из голого, необъяснимого факта, что оса живет бездомной одиночкой, в то время как золотые пчелы живут только роем в ульях. Правда, раскопки и археология позволяют нам узнать кое-что о том, что происходило на территории Афин и Рима до их основания. Но переход от того доисторического периода, чисто сельского и ничем не замечательного, к возникновению города — этого плода новой эпохи, возвращенного на почве обоих полуостровов — остается тайной; нам неизвестна даже этническая связь между доисторическими народами и этой удивительной общественностью, которая обогатила человечество новинкой, создав общественные площади и вокруг них город, отгороженный стенами от поля. Ибо для правильного определения античного города лучше всего подходит шуточное определение пушки: берется дыра, оббивается проволокой и получается пушка. Именно так и город начинается с пустого места — с площади, рынка, форума в Риме, агоры в Греции; а всё остальное — это лишь придаток, необходимый, чтобы ограничить эту пустоту, отгородить ее от окружения. Первоначальный «полис» — это вовсе не скопление жилых домов, это прежде всего место народных собраний, специальное пространство для выполнения общественных функций. Город не возник, подобно хижине или дому, для укрытия от непогоды, для выращивания детей и для прочих личных и семейных дел. Город предназначен для вершения общественных дел. Таким образом создан новый вид пространства, более новый, чем открытый впоследствии Эйнштейном. До тех пор был только один вид обитаемого пространства — открытая деревня, и люди жили в ней, со всеми последствиями, какие

влечет за собой такое существование. Сельский житель — существо еще растительного порядка. Вся его жизнь, его ощущения, мысли, желания — сохраняют в себе нечто от дремотной апатии растения. Великие азиатские и африканские цивилизации были в этом смысле большими антропоморфными растительными образованиями. Но античный человек решительно оторвался от поля, от природы, от гео-ботанического космоса. Как это возможно? Как может человек покинуть природу? Куда он может пойти? Ведь «поле» безгранично, оно занимает всю землю! Очень просто: он обносит кусок этого поля стенами и противопоставляет его бесформенному, бесконечному пространству — полю. Так возникает площадь. Она не похожа на дом, на «интерьер», прикрытый сверху наподобие пещер, встречающихся в поле; она просто полное отрицание поля. Благодаря окружающим ее стенам, площадь — этот отгородившийся клочок поля — показывает спину всему остальному полю, игнорирует его, становится в оппозицию к нему. Этот маленький революционер, обособившийся от своей великой матери-земли, образует свой новый, самородный (*sui generis*) жизненный простор. Здесь человек, освободившись от всякого общения с животным и растительным миром, создает замкнутый в себе чисто человеческий мир — общество граждан. Великий гражданин Сократ — квинт эссенция духа греческого «полиса» — выразил это в следующих словах: «Мне нет дела до деревьев в поле, я имею дело только с людьми в городе». Что могли понимать в этом индусы, персы, китайцы или египтяне?

До Александра Македонского и Цезаря история Греции и Рима сводится к непрерывной борьбе между этими двумя мирами: между рациональным городом и растительной деревней, между законодателями и крестьянами, между *jus* и *rus*.

Эта теория происхождения города не является моей фантазией или лишь образной метафорой. Жители греко-латинских городов с редким упорством хранят в глубине своей памяти воспоминание о «синоикисмосе». Это слово не нуждается в разъяснении, достаточно дать его точный перевод. Синоикисмос есть решение вести общественную жизнь, переход к народному собранию — в физическом и в правовом смысле слова. За периодом растительного рассеяния по стране следует период сосредоточения людей в городах. Город — это «сверх-дом», это преодоление «дома», то есть гнезда первобытных людей; это создание высшей, более сложной и абстрактной социальной единицы, чем «ойкос» (очаг) семьи. Город — это республика, «политейа», состоящая не из мужчин и женщин, как таковых, но из «граждан». Для человеческого бытия открывается новое измерение, несводимое к тем, что даны природою и что сближают человека с животным. И в своем стремлении к нему те, что были до сих пор только «людьми», напрягают все свои силы. Так возникает «г о р о д» — с самого начала уже как государство.

Всё побережье Средиземного моря всегда проявляло в какой-то степени внутреннюю склонность к этому типу государства. Он повторяется в более или менее чистом виде в Северной Африке (Карфаген — значит «город»). В Италии тип города-государства сохранился до 19-го века, а испанский Левант впадает в партикуляризм, который является последним отголоском этой тысячелетней тенденции.*)

Благодаря малым размерам и относительной про-

*) Интересно было бы показать, как в Каталонии работают две противоположные силы: европейский «национализм» и «дух города» Барселоны, где склонности древнего, средиземноморского человека еще живы. Поэтому я назвал бы левантинца последним отпрыском античного человека на Пиренейском полуострове.

стоте своей структуры, город-государство позволяет яснее распознать сущность государственного принципа. Слово государство (*status* — состояние) с одной стороны указывает, что исторические силы достигают здесь равновесия и устойчивости. В этом смысле оно означает противоположность историческому движению: государство — это установившееся, упорядоченное, статическое общежитие. Но за этой неподвижностью, за этим спокойным, законченным образом скрывается — как за всяким равновесием — динамика, игра сил, которые создали государство и его поддерживают. Она напоминает нам о том, что установившееся государство — это лишь результат прежних боев и усилий, направленных к его созданию. Установившемуся государству предшествовало становление его, и в этом заключен принцип движения.

Государство — не подарок, который человек получает готовым; он должен сам его своим трудом создавать. Его надо отличать от орды, от племени и прочих форм общества, основанных на кровном родстве и созданных самой природой, без участия человека. Государство, наоборот, возникает тогда, когда человек стремится уйти от первобытного общества, к которому он принадлежит по крови. Вместо крови мы можем поставить здесь любой иной естественный признак, например язык. Государство возникает путем смешения рас и языков. Оно является преодолением естественного общества, оно разнокровно и многоязычно.

Итак город возникает из соединения разных племен. На почве племенного многообразия воздвигается абстрактное правовое единство.*) Конечно, вовсе не потребность в правовом единстве толкает к созда-

*) Правовое единство не требует непременно централизации.

нию государства. Тут действует импульс гораздо более существенный, чем законность, а именно: перспективы несравненно более крупных задач, чем те, которые доступны небольшим кровным союзам. В зарождении и развитии каждого государства мы видим или угадываем силуэты великих преобразователей.

Исследуя историческую ситуацию, непосредственно предшествующую возникновению государства, мы всегда находим следующую картину: ряд отдельных мелких общин с такой специальной структурой, что каждая из них может жить обособленно, своей замкнутой внутренней жизнью. Это указывает на то, что в прошлом эти общины действительно жили изолированно, каждая сама по себе, без общей связи, лишь случайно соприкасаясь с соседями. Но за этой эпохой изоляции следует период внешних, главным образом хозяйственных связей. Члены общин уже не ограничиваются своим узким кругом; частично их жизнь уже связана с жизнью индивидов иных групп, с которыми они поддерживают экономические и духовные сношения. Таким образом возникает конфликт между двумя кругами жизни: внутренним и внешним. Установившиеся духовные связи общества — право, обычаи, религия — благоприятствуют внутреннему кругу и тормозят внешний, более обширный и новый. В этом положении государственное начало является движением, которое стремится разрушить старую социальную структуру малой, внутренней общины и заменить ее новой, отвечающей жизни большого, внешнего общества. Если приложить эту схему к современному состоянию Европы, то абстрактные выражения получают конкретные формы и окраску.

Новое государство может возникнуть лишь тогда, когда каким-то народам удастся освободиться от традиционной общественной структуры и взамен изобрести новую, до сих пор неизвестную структуру. Этот акт является творчеством в подлинном смысле этого

слова. Создание нового государства начинается со свободной игры воображения. Фантазия — это освобождающая сила, данная человеку. Народ может стать государством постольку, поскольку он способен его вообразить. Отсюда следует, что всем народам положены границы в их государственном развитии, а именно те границы, которые природа положила их воображению.

Греки и Римляне оказались способными вообразить город, который преодолел деревенскую разъединенность; но они остановились на городских стенах. Правда, был один, который хотел вести античный мир еще дальше и освободить его и от города; но его усилия были тщетны. Бедность фантазии римлян, воплощенная в Бруте, толкнула его на убийство Цезаря — воплощения творческой фантазии древнего мира. Мы, сегодняшние европейцы, должны помнить об этой древней истории; ибо наша собственная история развернута сегодня на той же главе.

7.

Светлых голов, в подлинном значении этого слова, было в древнем мире вероятно только две: Фемистокл и Цезарь, оба политики. Без всякого сомнения, в Греции и Риме было немало людей, которые имели ясные мысли о многих вещах — философов, математиков, естествоведов; но эта ясность была научного характера, то есть — ясность в постижении отвлеченных понятий. Все предметы, о которых говорит наука — отвлеченного характера, а отвлеченные понятия всегда ясны. Так что ясность науки не столько в головах ученых, сколько в природе предметов, о которых они говорят. Наоборот, живая, конкретная действительность всегда запутана, непроглядна и непов-

торима. Только тот, кто в ней может с уверенностью ориентироваться, кто за внешним хаосом конкретной действительности ощущает тайную анатомию данного момента, короче, кто в жизни не теряется, тот действительно может быть назван светлой головой. Присмотритесь к окружающим вас и вы увидите, как они блуждают в своей жизни; они бредут как во сне, по воле своей счастливой или злой судьбы, не имея ни малейшего предчувствия о том, что их ожидает. Они так уверенно говорят о себе и об окружающем их мире, как если бы они точно знали всё обо всём. Однако, если вы хотя бы поверхностно проверите их идеи, то вы заметите, что они очень мало или совсем не отвечают действительности; а при ближайшем исследовании вы обнаружите, что эти люди даже никогда и не стремились приблизиться к действительности. Наоборот: они пользовались своими «идеями», чтобы избежать очной ставки с реальным миром и своей собственной жизнью. Ибо жизнь — это прежде всего хаос, в котором человек теряется. Люди чувствуют это и их бросает в дрожь при мысли стать лицом к лицу с этой страшной действительностью, и они пытаются прикрыть ее завесой своей фантазии, и тогда всё выглядит очень ясно и логично. Что их «идеи» могут быть неверны, это их мало беспокоит: идеи служат им, как окопы для защиты от жизни, или как пугала, чтобы отгонять действительность.

Ясную голову имеет тот, кто может стряхнуть с себя эти фантастичные «идеи» и взглянуть жизни в лицо, кто сознает, что всё в ней очень сомнительно и чувствует себя потерянным. И так как это истинная правда, так как жить — это значит чувствовать себя потерянным, то тот, кто это приемлет, уже начинает себя находить, обретать подлинную реальность; он стоит на твердой почве. Инстинктивно, как потерпевший кораблекрушение, он будет высматривать, за что

бы ухватиться; и этот взгляд на жизнь, трагический, суровый, но искренний — ибо дело идет о собственном спасении — поможет ему внести порядок в хаос его жизни. Единственные подлинные ощущения — это ощущения кораблекрушения. Все остальное — риторика, поза, маска, лицемерие. Кто искренне не чувствует себя потерянным, тот теряет себя окончательно; это значит, что он никогда не найдет себя, никогда не придет к подлинной действительности.

Это относится ко всем отраслям жизни, даже к науке, хотя наука сама по себе есть бегство от жизни. (Большинство ученых посвятило себя ей из страха очной ставки с жизнью. Это не светлые головы; поэтому они так беспомощны в практической жизни). Ценность наших научных идей зависит от того, насколько мы почувствовали себя потерянными перед вопросом, насколько мы постигли его проблематичность и насколько мы усвоили, что никакие чужие мнения, методы, теории и рецепты нам не могут помочь. Кто открывает новую научную истину, тот должен сперва отказаться почти от всего, чему он до тех пор научился; он приходит к этой новой истине с окровавленными руками, так как по пути ему пришлось выдержать борьбу со множеством общих мест.

Политика гораздо ближе к реальности, чем наука, так как она складывается из неповторимых ситуаций, в которые человек внезапно попадает независимо от своей воли. Поэтому она является пробным камнем, который лучше всего позволяет нам отличить светлые головы от шаблонных.

Цезарь обладал величайшей способностью угадывать, схватывать истинную реальность. Он проявил этот дар в эпоху полного смятения, в один из наиболее хаотических периодов, какие только переживало человечество. И как бы для того, чтобы подчеркнуть его единственность, судьба поставила рядом с ним

Цицерона, этого образцового «интеллектуала», который в течение всей своей жизни только и делал, что все путал и ошибался.

Политический аппарат Рима был расслаблен избытком счастья и удачи. Город на Тибре, владыка Италии, Испании, Северной Африки, классического и эллинистического Востока, был близок к краху. Общественные учреждения Рима носили муниципальный характер, они были неотделимы от города.

Прочность и процветание демократий — какого бы типа и степени развития они ни были — зависит от ничтожной технической детали: от избирательной процедуры. Всё остальное второстепенно. Если процедура выборов поставлена правильно, если ее результаты отвечают действительности, то всё хорошо; если нет, то страна идет к краху, как бы отлично ни было всё остальное. В начале I века до Р. Х. Рим был всемогущ, богат и не имел перед собой врагов. И тем не менее он стоял на краю гибели, ибо он упрямо держался нелепой избирательной системы; нелепой, ибо она была ложно построена. Голосование производилось в Риме. Граждане, жившие в провинции, не могли участвовать в голосовании, не говоря уже о тех, кто был рассеян по всем окраинам римской империи. Так как правильные выборы были невозможны, то оставалось их фальсифицировать и кандидаты организовывали наемные банды из ветеранов армии и цирковых атлетов, задачей которых было терроризировать избирателей и разбивать урны.

Без поддержки добросовестного голосования демократические учреждения повисают в воздухе, обращаются в пустые слова. «Республика была только на словах», — сказал Цезарь. Должностные лица и учреждения потеряли авторитет. Генералы справа и слева — Марии и Суллы — состязались в праздных диктатурах, которые ни к чему не приводили.

Цезарь никогда не излагал своей политики — он ее делал. Его политикой был он сам — Цезарь, а не настоящее руководство цезаризма, какое из нее сделали впоследствии. Если мы хотим понять его политику, то нам остается лишь перечислить его деяния. Тайна раскрывается в самом знаменитом из его подвигов — завоевании Галлии. Для выполнения этого предприятия Цезарь вынужден был восстать против тогдашней государственной власти. Почему?

Власть была в руках республиканцев, то есть консерваторов, верных приверженцев города-государства. Их политика сводилась к двум основным положениям. Во-первых: расстройство общественной жизни Рима было результатом его чрезмерной экспансии. Город не может править столь многими народами. Каждое новое завоевание — это преступление против республики. Во-вторых: чтобы избежать разложения государственных учреждений, нужен «принцепс» (князь, государь).

Под этим словом тогдашний римлянин — в противоположность сегодняшнему смыслу слова — понимал обычного гражданина, которому высшая власть вручала управление аппаратом республиканских учреждений. Цицерон в своей книге «О республике» и Салюстий в своих «Воспоминаниях о Цезаре» дают сводку мыслей тех политиков, которые требуют учреждения должности “*princeps civitatis*” или “*rector rerum publicarum*” или же “*moderator*”.

Решение Цезаря было прямо обратным. Он ясно понимал, что единственным средством справиться с трудностями, возникшими в результате прежних римских завоеваний, было продолжать эти завоевания, до конца принять и выполнить назначение исторической судьбы. Прежде всего он считал необходимым покорить новые народы Запада, которые в недалеком будущем угрожали стать более опасными, чем

упадочные народы Востока. Таким образом, Цезарь проводит мысль о необходимости радикально романизировать варварские племена Западной Европы.

Шпенглер утверждал, что греко-римский мир был неспособен постигнуть время, рассматривать свое бытие, как нечто протяженное во времени; он жил лишь «точкообразно», настоящим моментом. Я склонен думать, это этот диагноз ошибочен или, по крайней мере, смешивает две вещи. Античный человек страдает поразительной слепотой в отношении будущего. Он просто его не видит, подобно тому, как дальтонист не видит красного цвета. Но зато он укоренен в прошлом. Прежде, чем принять решение, он обращается назад, он ищет в прошлом прообраз, аналогию сегодняшней ситуации; и он погружается в прошлое, как водолаз в своем скафандре, чтобы потом, найдя там ответ, применить его к разрешению современных проблем. Поэтому вся его деятельная жизнь есть некоторым образом воскрешение прошлого. Таков тип архаического человека и такими были почти все древние. Это не означает полной нечувствительности ко времени, это лишь несовершенное его восприятие: атрофированное в отношении будущего и преувеличенное в отношении прошлого.

Мы, современные европейцы, наоборот, ориентированы на будущее; для нас определяющим является не то, что было до, а то, что придет после. Из этого ясно, что для нас античная жизнь должна казаться лишенной времени.

Эта мания — подходить к настоящему с меркой прошлого — унаследована от старых времен современными «филологами». И поэтому эти «филологи» слепы к будущему. Они смотрят только назад; для каждого явления современности они ищут прецедента, который они на своем языке называют «источни-

ком». Уже древние биографы Цезаря сами закрыли для себя понимание его величия тем, что внушили себе, будто Цезарь хотел подражать Александру Македонскому. Сравнение это, конечно, само собой напрашивается. Если лавры Мильтиада не давали спать Александру, то, конечно, так же действовали и лавры Александра на Цезаря. И так далее. Всегда взгляд назад, и «Сегодня» идет по стопам «Вчера». Сегодняшние «филологи» — это отзвук классических биографов.

Те, кто думают, что Цезарь стремился к тому же, что и Александр — а так думали почти все историки — совершенно не понимают Цезаря и никогда его не поймут. Цезарь скорее противоположность Александру. Идея мировой империи — единственное, что их связывает. Но эта идея принадлежит не Александру, она идет из Персии. Образ Александра должен был бы увести Цезаря на Восток, в таинственную седую древность. Но решительное предпочтение, которое Цезарь оказал Западу, показывает, что он решил идти иным путем, чем великий Македонец. Помимо того, Цезарь стремился вовсе не только к мировой империи. Его замыслы были глубже. Он хотел создать Римскую Империю, которая жила бы не одним Римом, но и периферией, провинциями; это означало решительное преодоление идеи города-государства и переход к новому типу: государства, где все народы привлечены к сотрудничеству и все связаны чувством солидарности. Не сочетание центра, который только повелевает, и периферии, которая только повинует, но могучее социальное образование, где каждый элемент является одновременно и пассивным и активным членом государства. Это не что иное, как наше современное государство, чудесным образом предвосхищенное гением Цезаря. Но это предполагало создание внеримской и антиаристократической власти,

которая, по своим полномочиям, далеко превышала бы республиканскую олигархию с ее государем, (ведь он был только *primus inter pares* — первый среди равных). Эта исполнительная власть, представляющая мировую демократию, могла быть только монархией со столицей вне Рима.

Республика! Монархия! Истинный смысл этих слов в течение истории все время менялся и поэтому для каждого момента их надо снова проверять, чтобы удостовериться в их тогдашнем понимании.

Доверенными людьми Цезаря, его непосредственными помощниками были не архаически мыслящие представители римской знати, но новые люди, провинциалы, энергичные и решительные. Его первым министром был Корнелиус Бальбо, делец из Кадикса, человек Атлантики, колоний.

Но предвосхищение нового государства было слишком смелым; медлительные головы латинян не способны были к такому огромному прыжку. Образ «Вечного Города» в его покоряющей реальности заслонял для римлян всякую иную организацию общественной жизни. Как могут люди, не жившие в «Городе», образовать Государство? Что это за нереальное, мистическое образование?

Я повторяю снова: реальность, которую мы называем «государством», отнюдь не представляет собою спонтанно возникшего общества людей, связанных кровным родством. Государство возникает тогда, когда группы разного происхождения вынуждаются к совместной жизни. Эта вынужденность не есть голое насилие; это скорее влекущая сила общей цели, общей задачи, предстоящей рассеянным группам. Государство — это прежде всего план действия, программа сотрудничества. Оно призывает людей к некой совместной работе. Государство — это не кровное родство, не общность языка или террито-

рии, не соседство жилья. Оно вообще не есть что-то материальное, покоящееся, данное, ограниченное. Это — нечто чисто динамическое, это воля к общей деятельности. Поэтому государственной идее не положено никаких физических границ.

Есть знаменитая политическая эмблема Сааведры Фахардо: стрела и под ней слова: «Она взлетает или падает». Это и есть государство. Оно — движение, а не предмет; в каждое мгновение оно «откуда-то приходит» и «куда-то идет». Как всякое движение, оно имеет свой *terminus a quo* и свой *terminus ad quem* — начальный и конечный пределы. Если мы исследуем любое государство в любой момент, то мы обнаружим там единство общественной жизни, основанное *п о в и д и м о у* на одном из тех материальных признаков, которые статическая школа считает за самую сущность государства — на единстве крови, языка или на «естественных границах». Но мы вскоре замечаем, что население государства занимается не только внутренними делами; оно покоряет другие народы, основывает колонии, заключает союзы с иными государствами; это значит, что оно беспрестанно выходит за пределы того самого объединяющего принципа, на котором оно якобы основано. Это — *terminus ad quem*, это и есть подлинная природа государства, назначение которого состоит именно в преодолении начального единства. Если это стремление к дальнейшему преобразованию ослабевает, то государство автоматически идет к своему концу, и существующее единство, якобы основанное на материальной базе — расе, языке или границах — не помогает; государство слабеет, разлагается и распадается.

Только это наличие двух аспектов государства — его исходного единства и того широкого плана, к которому оно стремится — дает нам представление о

природе национального государства. Как известно, все попытки дать точное определение нации, в современном значении этого слова, остались безуспешными. «Город-государство» — было очень ясное понятие, которое можно было проверить собственными глазами. Но новый тип государственного единства, созданный галлами и германцами, это великое политическое открытие Запада, гораздо более расплывчато и неустойчиво. «Филолог» — этот историк нашего времени, архаичный по самой природе своей — стоит перед этим огромным явлением так же беспомощно, как Цезарь или Тацит, когда они пытались на своем римском лексиконе найти определение тем государствам, которые зарождались по ту сторону Альп и Рейна или к югу от Пиренеев. Они называли их *civitas*, *gens*, *natio* и знали, что ни одно из этих понятий не подходит*). Это не *civitas* просто потому, что это не «города».***) Также невозможно определить их, исходя из понятия территории: новые народы с большой легкостью меняли место жительства и распространялись или наоборот сжимались. Они также и не этнические единства, как *gentes* или *nationes*. Поскольку мы можем проследить их развитие, новые государства образовались из групп независимого происхождения. Они произошли от слияния групп различной крови. Но что же тогда нация, если она не кровное родство, не заселенная территория, или еще что-нибудь в этом роде?

В этом вопросе, как и всегда, наиболее верный путь, это простое признание фактов. Что бросается

*) См. Dopsch. Экономические и социальные основы европейского культурного развития от Цезаря до Карла Великого.

**) Римляне никогда не называли поселения варваров городами, как бы густо ни были они застроены. Они называли их *sedes aratorum*.

в глаза, когда мы проследим развитие любого из современных национальных государств — Франции, Испании, Германии? Следующий факт: тот принцип, который в известную эпоху был, казалось, положен в основу нации, в позднейшее время отменяется. Государство-нация начинается как одно племя, и соседнее племя — это еще не нация. Затем она складывается из обоих этих племен; далее она — «район», немного спустя уже графство, затем герцогство и, наконец, королевство. В Испании зародышем государства был Леон, потом Леон и Кастилья, затем включается Арагония. Ясно действие двух начал: одно — меняющееся и всё время преодолеваемое: племя, район, графство, королевство; другое — постоянное, которое свободно преодолевает все эти границы и включает в свое единство именно то, что первое начало считало своей противоположностью.

«Филологи» — так зову я всех, кто нынче претендует на звание «историка», — исходят в своих исторических рассуждениях из сегодняшней Европы и представляют себе, что Винценгеторикс или Сид Кампеадор сражались за создание именно сегодняшней «Франции» от Сен-Мало до Страссбурга или «Испании» от Финистерре до Гибралтара. Они начинают биографию своих героев с тридцатилетней войны. Чтобы объяснить нам, как возникли Франция и Испания, они предполагают, что Франция и Испания предсуществовали в глубине французских и испанских душ, как готовые образы. Как будто вначале, когда еще не было ни Франции, ни Испании, уже были «французы» и «испанцы»! Как будто французы и испанцы не явились лишь в результате двухтысячелетней истории!

В действительности, современные нации являются лишь современным аспектом того переменного, обреченного на вечное преодоление принципа, о кото-

ром мы говорили выше. Этот принцип сегодня уже не кровное родство и не общность языка; во Франции и в Испании оба эти явления были следствием, а не причиной образования единого государства; сегодня этот принцип — «естественные границы».

Вполне понятно, когда дипломаты в своем словесном поединке пользуются понятием естественных границ в качестве *ultima ratio* — крайнего довода. Но историк не смеет прятаться за него, как за укрытие. Это понятие не является чем-либо постоянным, ни даже просто достаточно конкретным.

Мы не должны забывать, в чем, строго говоря, заключается наша проблема. Дело идет о том, чтобы дать точное определение национального государства — того, что мы сегодня называем нацией — в отличие от других форм государства — города-государства и его антипода, империи Августа*). Формулирую яснее и конкретнее: какая реальная сила создала эти объединения миллионов людей под единой верховной общественной властью, которые мы сейчас называем Францией, Англией, Испанией, Италией, Германией? Это не было кровное родство, так как в этих коллективных организмах течет различная кровь. Это также не единство языка: народы, соединенные в одном государстве, говорят или говорили на разных языках. Относительное однообразие расы и языка, которого они сейчас достигли (если это можно считать достижением), является следствием предыдущего политического объединения. Таким образом не кровь

*) Как известно, империя Августа является противоположностью тому, что хотел создать его приемный отец — Цезарь. Август пошел по стопам Помпея — врага Цезаря. Лучшая книга по этому предмету — Эдуарда Майера: «Монархия Цезаря и Принципат Помпея». (Внутренняя история Рима с 66 по 44 г. до Р.Х.), Штутгарт, 1918.

и не язык являются основой национального государства; наоборот, это оно сглаживает первичные различия кровяных шариков и членораздельных звуков речи. И так было всегда. Границы государства почти никогда не совпадали с границами предшествовавшего племенного или языкового расселения. Испания сейчас не потому является национальным государством, что там говорят по-испански*). Каталония и Арагония тоже не потому были национальными государствами, что в какой-то определенный день их границы совпадали с границами распространения каталонского или арагонского языка. Мы будем во всяком случае ближе к истине, если мы дадим следующую формулировку: каждое языковое единство, которое охватывает известную область, почти всегда бывает результатом предшествующего политического единства. Государство всегда играло роль великого переводчика.

Этот факт давно уже хорошо известен и потому удивительно то упорство, с каким всё же кровь и язык до сих пор считаются основами национальности. В таком взгляде столько же неблагодарности, сколько непоследовательности. Ибо сегодняшний француз должен быть благодарен за свою Францию, а испанец за свою Испанию тому принципу, действие которого состоит именно в преодолении узкой общности, основанной на языке и крови.

Подобную же ошибку совершают те, кто основывают идею нации на территориальном принципе и хотят найти объяснение единства в географической мистике «естественных границ». Мы стоим здесь перед таким же оптическим обманом. Случайно в данный момент государства или так называемые нации занимают определенные части материка и некоторые острова.

*) Неверно, будто все испанцы говорят по-испански, все англичане по-английски или все немцы по-немецки.

Из этих сегодняшних границ хотят сделать нечто абсолютное и метафизическое. Им приписывают качества «естественных границ» и под этой «естественностью» понимают какое-то магическое предопределение истории в зависимости от очертаний земной суши. Но этот миф тотчас же распадается, как только мы подвергнем его такому же анализу, какой доказал несостоятельность крови и языка, как источников нации. Если мы оглянемся на несколько столетий назад, то мы увидим на месте современных Франции и Германии ряд мелких государств, разделенных своими непременно «естественными» границами. Правда, эти границы были не так значительны, как сегодняшние Пиренеи, Альпы, Рейн, Ламанш, Гибралтарский пролив и т. д.; но это только доказывает, что эта «естественность» границ весьма относительна, и что она зависит от военных и экономических сил и средств эпохи.

Историческая реальность этих пресловутых «естественных границ» состоит просто в том, что они поддерживают экспансию одного народа за счет другого. Затрудняя мирный захват и военное вторжение одному народу, они тем самым защищают второй. Идея «естественных границ» предполагает таким образом еще более естественную возможность распространения и слияния народов. Только материальные препятствия, повидимому, могут воспрепятствовать этому. Вчерашние и позавчерашние границы кажутся нам сегодня не опорой государств, но наоборот препятствием, на которое натывается национальная идея в своей задаче объединения нации. И, несмотря на это, мы пытаемся придать сегодняшним границам окончательное и решающее значение, хотя новые средства сообщения и новое военное оружие уже свели к нулю роль этих границ в качестве препятствий. Какую же роль играли границы при образовании государств-наций, раз они не

были основным, решающим фактором? Ответ ясен и крайне знаменателен, если вдуматься в основное различие между государством-нацией и государством-городом. Границы служили тому, чтобы упрочивать уже достигнутое государственное единство. Следовательно они не были *н а ч а л о м*, толчком к образованию нации; наоборот, вначале они были тормозом и лишь впоследствии, когда они были преодолены, они стали материальным средством к обеспечению единства.

Точно такую же роль играли раса и язык. Вовсе не природная общность расы и языка создавала нацию, но наоборот: национальное государство в своем стремлении к объединению должно было бороться с многорасовостью и многоязычием, как с препятствиями. Лишь после того, как эти препятствия были энергично устранены, создалось относительное единообразие расы и языка, которые теперь со своей стороны укрепляли чувство единства.

Итак, нам не остается ничего иного, как исправить традиционное искажение идеи национального государства и свыкнуться с мыслью, что как раз те три основы, на которых национальное государство якобы покоится, являлись главными препятствиями его развитию.

Секрет успеха национального государства надо искать в его специфически государственной деятельности, планах, вождениях, словом в политике, а не в посторонних областях, как биология или география.

Почему, в конце концов, для объяснения чудесного расцвета национальных государств необходимо прибегать к расе, языку, территории? Да просто потому, что в этих государствах мы находим тесную связь и солидарность интересов отдельной личности с общественной властью, чего не было в античном го-

сударстве. В Афинах и в Риме лишь немногие из жителей были гражданами Государства; большинство состояло из рабов, наёмников, провинциалов, земледельцев — только подданных, но не граждан. В современных государствах — Англии, Франции, Испании, Германии — никогда не было просто «подданных»; каждый был членом государства, участником этого единства. Формы, особенно юридические, этого государственного единства были очень различны в разные эпохи. Были крупные различия в рангах и в личном положении, были классы более привилегированные и были обездоленные; но, учитывая реальную политическую ситуацию каждой эпохи, принимая во внимание дух ее, мы приходим к неоспоримому заключению, что каждый «подданный» являлся активным членом государства, соучастником и сотрудником его.

Государство, какова бы ни была его форма — примитивное, античное, средневековое или современное — всегда является призывом, который одна группа людей обращает к другим группам для совместного проведения какого-то начинания. Это предприятие — каковы бы ни были его промежуточные ступени — всегда сводится к созданию какой-то новой формы общественной жизни. Государство с одной стороны и жизненные нужды страны и план их удовлетворения с другой стороны образуют нераздельное единство. Различные государственные формы возникают из тех различных форм, в которых инициативная группа осуществляет сотрудничество с другими группами. Античному государству никогда не удавалось слиться с этими «другими». Рим правит Италией и провинциями, он воспитывает их население, но он не поднимает их до себя, не объединяется с ними. Даже в самом Риме дело не доходит до политического слияния граждан. Не надо забывать, что «Рим» эпохи республики, строго говоря, состоял из двух частей: Сената и народа

Senatus populusque Romanus. Государственное единство никогда не шло дальше внешнего объединения отдельных групп, которые внутренне и далее оставались разьединенными и чуждыми одна другой. Поэтому впоследствии Империя перед лицом внешней угрозы не могла рассчитывать на патриотизм «остальных» — присоединенных групп — и вынуждена была обороняться исключительно своим бюрократическим, административным и военным аппаратом.

Неспособность всех греческих и римских групп к слиянию с другими группами имеет глубокие причины, которые мы здесь не можем исследовать; они сводятся к тому, то античный человек слишком элементарно и грубо представлял себе сотрудничество государства с населением; для него оно сводилось к взаимоотношению правителей и подчиненных*). Риму было дано повелевать, а не подчиняться; всем прочим — подчиняться, но не повелевать. Таким образом и *romae-gium* — город, физически обнесенный стенами, — становится наглядным прообразом, как бы символом государства.

Но новые народы приносят с собой новое, менее материальное понятие государства. Поскольку государство есть призыв к совместному начинанию, то стало быть сущность его — чисто динамическая; оно есть деяние, общность действия. Следовательно каждый, кто примыкает к общему делу, является действующей частицей государства, политическим субъектом. Раса,

*) Дарование гражданства всем обитателям Империи, которое кажется опровержением нашего утверждения, в действительности подтверждает его. К этому времени гражданство потеряло свое политическое значение и стало пустым титулом или же служебным обязательством к государству. От цивилизации, которая принципиально признавала рабство, ничего иного и нельзя было ожидать. В наших «нациях» рабство оставалось пережитком.

кровь, язык, географическая родина, социальные классы — все это имеет второстепенное значение. Право на политическое единство дается не прошлым — древним, традиционным, фатальным и неизменяемым, но будущим — определенным планом совместной деятельности. Не то, чем мы вчера были, но то, чем все вместе завтра будем — вот что соединяет нас в одно государство. Отсюда та легкость, с которой на Западе политическое единство переходит те границы, в которых было заковано античное государство. И это потому, что европеец — в противоположность античному человеку — обращен лицом к будущему, сознательно живет в будущем и к нему принаравливает свое настоящее поведение.

Политический импульс такого рода неизбежно побуждает к образованию всё более обширного единства и в принципе ничто не может удерживать его от этого. Способность к слиянию безгранична, не только у народов, но также и у социальных классов внутри самого национального государства. По мере того, как государство расширяет свою территорию и население, совместная жизнь внутри страны всё более унифицируется. Национальное государство в корне своем демократично и это гораздо важнее, чем все различия форм правления.

Интересно отметить, как каждое определение, которое выводит нацию из какой-то общности в прошлом, в конце концов приводит к формуле Ренана, потому что в ней к известным уже признакам — расе, языку и общности традиций — присоединяется еще один новый: нация — это «ежедневный плебисцит». Но правильно ли понимается это выражение? Не можем ли мы сейчас вложить в него содержание со знаком противоположным тому, который дал ему Ренан, и при том содержание, гораздо более отвечающее истине?

8.

«Общая слава в прошлом и общая воля в настоящем; воспоминание о совершенных великих делах и готовность к дальнейшим — вот существенные условия для создания народа... Позади — наследие славы и раскаяния, впереди — общая программа действия... Жизнь нации — это ежедневный плебисцит».

Такова знаменитая формула Ренана. Как объяснить ее необычайный успех? Без сомнения крылатостью последней фразы. Мысль о том, что нация осуществляется благодаря ежедневному голосованию, действует на нас, как освобождение. Общность крови, языка, прошлого — это всё неподвижные, косные, безжизненные, роковые принципы; это — тюрьма. Если бы нация была только этим и ничем иным, то она лежала бы позади нас, нам не было бы до нее дела. Она была бы чем-то законченным, без будущего. Не было бы смысла даже защищать ее, если бы на нее напали.

Наша жизнь, помимо нашего желания, всегда связана с будущим; от сегодняшнего момента мы всегда устремлены к грядущему. Жизнь есть непрерывная деятельность без отдыха и без покоя. Почему нам не приходит в голову, что «делать» — значит осуществлять будущее? Даже и в том случае, когда мы отдаемся воспоминаниям. Мы вызываем воспоминания в данный момент, чтобы в следующий же момент чего-то достигнуть, хотя бы удовольствия от восстановления прошлого. Это простое, непритязательное удовольствие показалось нам секунду назад желательным будущим; поэтому мы что-то «делаем», чтобы его получить. Итак, устанавливаем твердо: все для

человека имеет смысл лишь постольку, поскольку оно направлено в будущее.*)

Если бы нация состояла только из прошлого и настоящего, то никто не стал бы ее защищать в случае нападения. Те, кто утверждает обратное — лицемеры или безумцы. Но бывает, что прошлое закидывает в будущее приманки — действительные или воображаемые. Мы хотим, чтобы наша нация существовала в будущем; ради этого мы ее защищаем, а не во имя общего прошлого, не во имя крови, языка и т. д. Защищая наше государство, мы защищаем наше завтра, а не наше вчера.

В этом кроется смысл формулы Ренана: нация, как захватывающая программа будущего. Народное голо-

*) Согласно этому, человек, несомненно, представляет собою «футуристическое» существо, т. е. он живет прежде всего в будущем и для будущего. Несмотря на это, я противопоставил античного человека современному европейцу и утверждал, что первый был относительно замкнут для будущего, а второй также относительно открыт для него. Это кажется противоречием; однако оно легко рассеивается, если вспомнить, что человек — существо двойственное: с одной стороны, он есть то, что он есть; с другой стороны, он имеет о себе самом представления, которые лишь более или менее совпадают с его истинной сущностью. Наши мысли, оценки, желания конечно не могут уничтожить наших приращенных свойств, но могут их изменить и усложнить. Античные люди были так же связаны с будущим, как и мы современные европейцы; но они подчиняли будущее заповедям прошлого, тогда как мы отводим новому будущему первое место. Этот антагонизм — не в бытии, но в предпочтении — дает нам право определить современного человека, как «футуриста», а античного, как «архаиста».

Знаменательно, что современный европеец, как только он подрастает и становится на собственные ноги, говорит о своей жизни, как о «модерной» эпохе. Под модерным, как известно, подразумевается новое, вытесняющее старые обычаи. Уже в 14 веке начинается подчеркивание нового, как раз в тех вопросах, которые наиболее глубоко волновали ту эпоху; так было создано понятие *devotio moderna*, род авангардного движения в мистической теологии.

сование решает о будущем. Тот факт, что в этом случае будущее является лишь продолжением прошлого, ничего не меняет. Он только показывает, что и само определение Ренана слегка архаично.

Поэтому национальное государство, как политический принцип, более приближается к чистой идее государства, чем античный «Город» или «государство-племя» арабов, построенное на кровном родстве. В действительности идея «нации» также не свободна от предрассудков расы, земли и прошлого; но в ней все же торжествует динамический принцип объединения народов вокруг манящей программы будущего. Более того: я бы сказал, что этот балласт прошлого, и некоторое увлечение материальными началами коренились и коренятся не в душе западного мира; они заимствованы из искусственных построений романтизма, внесших эти элементы в идею нации. Если бы Средневековье имело ту же национальную идею, что и 19 век, то Англия, Франция, Германия никогда не появились бы на свет*). Ибо это понимание 19-го века смешивает движущие и образующие силы нации с силами лишь охраняющими и поддерживающими ее. Скажем прямо и откровенно: неверно, будто нацию создает патриотизм — любовь к отечеству. Те, кто так думает, впадают в сентиментальное заблуждение, о котором мы уже говорили выше; даже Ренан в своем замечательном определении не избежал его. Если для существования нации необходимо, чтобы группа людей не спускала глаз с общего прошлого, то спрашивается, как должны мы назвать эту группу людей, которая переживает как настоящее то, что с точки зрения сегодняшнего дня является прошлым? Ведь очевидно, что их былая форма жизни кончилась в тот момент, когда они сказали себе: мы — нация. Не наталкиваемся ли мы

*) Идея национального государства появилась — как первый симптом романтизма — в конце 18 века.

здесь на профессиональный порок всех «филологов»-архивариусов, на их слепоту, которая мешает им видеть действительность до тех пор, пока она не станет прошлым? «Филолог», в силу своей профессии действительно нуждается в прошлом, но нация вовсе нет. Наоборот: прежде, чем иметь общее прошлое, нация должна была создать совместное существование, а прежде чем создать его, она должна была к нему стремиться, мечтать, желать, планировать его. Для существования нации достаточно, если кто-то имеет перед собой ее как цель, как свою мечту, хотя бы она и не была достигнута, если бы попытка и не удалась, как это в жизни часто бывает; тогда мы говорим о неудавшейся нации; пример — Бургундия.

Народы Центральной и Южной Америки имеют с Испанией общее прошлое, общую расу и язык и однако они не составляют с ней одну нацию. Почему? Не хватает лишь одного, но очевидно наиболее существенного: общего будущего. Испания не сумела создать общей программы будущего, которая могла бы увлечь эти биологически родственные группы. Поэтому «плебисцит», взвесив будущее, решил не в пользу Испании. И тогда все архивы, воспоминания прошлого, предки и «отечество» оказались бессильными. Весь этот реквизит хорош для консолидации, но лишь при наличии плебисцита; без него он — нуль*).

Таким образом, «государство-нация» есть такая историческая форма государства, для которой типичным признаком является плебисцит. Все прочее имеет лишь преходящее значение, и относится только к содержанию, форме и гарантиям, которых требует плебисцит.

*) Пример к этому — гигантский и ясный, как лабораторный опыт — разыгрывается на наших глазах: Англии предстоит показать, сумеет ли она удержать отдельные части своей Империи под своим суверенитетом при помощи убедительной программы совместной деятельности.

Ренан нашел магическую формулу, изучающую свет; она позволяет нам проникнуть во внутреннюю структуру нации. Два момента различаем мы при этом: во-первых, п р и з ы в к построению совместной жизни общими усилиями; во-вторых, о т к л и к населения, принятие им этого проекта. Это всеобщее согласие создает внутреннюю солидарность, которая отличает «государство-нацию» от всех древних форм: там единство достигалось и поддерживалось внешним давлением со стороны государства на отдельные группы; тогда как в нации сила государства проистекает из глубокой внутренней солидарности «подданных». В сущности эти подданные сами и являются государством и поэтому — и в этом чудесная новизна нации — они не могут ощущать государство, как нечто им чуждое.

И однако Ренан сводит почти на нет свою идею тем, что он придает плебисциту реакционное содержание, применяя его к готовому уже государству, которое плебисцит должен лишь увековечить, зафиксировать. Я дал бы этому плебисциту обратное направление и предоставил бы ему решение формы р о ж д а ю щ е г о с я г о с у д а р с т в а. Это в сущности основной вопрос, ибо в действительности нация никогда не бывает «готовой», законченной — в этом ее отличие от других типов государства. Она всегда или в процессе стройки, или в периоде распада. *Tertium non datur*. Она либо приобретает приверженцев, либо теряет их в зависимости от того, имеет она в данный момент жизненное задание или нет.

Было бы поэтому крайне поучительно проследить историю тех идей и проектов объединения, которые поочередно воспламеняли человеческие общества Западной Европы. Мы могли бы обнаружить, что европейцы переживали эти стремления и попытки не только в общественной жизни, но и в своем личном, интимном быту; мы увидели бы, как менялось их личное по-

ведение, их активность в зависимости от того, была ли налицо общая цель, программа, или нет.

И еще одно обстоятельство могло бы выясниться в результате этого исследования. В древнем мире возможность экспансии государства была фактически ничем не ограничена; во-первых, потому, что человеческие группы не соприкасались тесно одна с другой; во-вторых, потому, что каждое «государство» состояло всего из одного племени или «города». Поэтому воинственный народ — персы, македоняне или римляне — могли подчинить своему господству, то есть «объединить» — любую часть планеты. Так как подлинного, внутреннего, организованного единства не было, то судьба народов зависела целиком от военных и административных способностей завоевателя. Но на Западе процесс объединения нации неизбежно должен был проходить через целый ряд промежуточных стадий. Стоило бы серьезно задуматься над тем фактом, что в Европе оказалось невозможным образование огромной империи на подобие империй Кира, Александра Македонского или Октавиана-Августа.

Процесс образования европейских государств-наций всегда протекал следующим ритмом:

Первая стадия: специфический инстинкт Запада, представляющий себе государство в форме слияния разных народов в единую политическую и духовную общину, проникает собою группы, близкие друг другу территориально, по племени и по языку. Не потому, чтобы эта близость сама по себе являлась основой нации, но потому, что различия между соседями вообще легче преодолеваются.

Вторая стадия: период консолидации, в течение которого другие народы — вне нового государства — рассматриваются, как чужие и, более или менее, как враги. Это — период, когда процесс национального развития принимает характер исключитель-

ности и стремится замкнуться в пределах одного государства, короче говоря — период национализма. Но воспринимая соседей политически, как чужаков и соперников, новое государство в действительности — экономически, умственно и духовно — живет совместной с ними жизнью. Национальные войны приводят к выравниванию технических и духовных различий. «Исконные» враги становятся в историческом аспекте все более похожими друг на друга. Мало-помалу появляется сознание, что враждебные народы принадлежат к тому же миру людей, что и собственное государство. Однако их еще попрежнему считают за чуждый и враждебный элемент.

Третья стадия: государство достигло полного упрочения. Теперь перед ним встает новая задача — объединение с народами, которые вчера еще считались врагами. Растет убеждение, что они родственны нам, как по духу, так и практически, и что все вместе мы образуем одно национальное целое, противостоящее другим, более далеким и чуждым группам. Таким образом созревает уже новая национальная идея.

Я хочу пояснить свою мысль примером. Обычно утверждают, что Испания, как национальная идея, существовала уже во времена Сида Кампеадора (11 век), и чтобы подкрепить это утверждение добавляют, что еще за несколько столетий до того святой Исидор говорил о «матери Испании». По моему суждению, такой взгляд является грубым искажением исторической перспективы. Во времена Сида началось слияние Леона и Кастильи в одно государство, и это слияние и было национальной, политически действенной идеей той эпохи. Наоборот, слово «Испания» было в то время лишь риторическим литературным выражением; в крайнем случае — одной из плодотворных политических идей, зароненных Римской Империей на почве Западной Ев-

ропы. «Испанцы» за время римского владычества привыкли считать себя административной единицей Рима, диоцезом Великой Империи. Но это географически-административное понятие было лишь навязано извне, за ним не было внутренней силы, никакого устремления в будущее.

Как бы ни пытались приписать этой идее действительную силу уже в 11 веке, надо признать, что она никогда не достигала такой силы и определенности, какой идея Великой Греции (Эллады) достигла уже в 4 веке до Р. Х. И однако Эллада никогда не была подлинной национальной идеей. Подлинное историческое соотношение можно выразить так: «Эллада» была для греков 4 века, а «Испания» для «испанцев» 11 и даже 14 века — тем же, чем «Европа» была для «европейцев» 19 века.

Как видим, задачи и попытки национального объединения следуют во времени подобно чередованию звуков в мелодии. Вчерашнее простое тяготение может завтра доспеть к вспышке оформленных национальных чаяний. И можно не сомневаться, что час этой вспышки неизбежно придет.

Сейчас для европейцев приходит время, когда Европа может стать их национальной идеей. И вера в это будущее является гораздо меньше утопией, чем предсказания 11 века о единстве Испании или Франции. Чем тверже будет «Национальное Государство Запада» отстаивать свою подлинную сущность, тем вернее будет путь превращения его в единое могучее континентальное государство.

9.

Когда государства-нации Запада стали приближаться к своим теперешним границам, то позади них, подобно экрану или фону, начал обрисовываться си-

луэт «Европы». Уже со времен Ренессанса европейские нации живут и движутся на этом фоне; и незаметно для самих себя они начинают остывать от своего былого воинственного задора. Франция, Англия, Испания, Италия, Германия сражаются друг с другом, составляют лиги и союзы и разрывают их лишь для того, чтобы заключить их снова в ином составе. Но всё это — как война, так и мир — является совместной жизнью равных с равными, чего никогда не могло быть между Римом с одной стороны и кельто-иберами, галлами, бритами и германцами с другой стороны. Историки обычно выдвигают на первый план конфликты, войны и вообще «политику»; так, якобы, подготавливается почва для будущих семян и всходов единства. Но в действительности, в то время, как на одном поле разыгрывается битва, на сотнях других между «врагами» идет мирная торговля, обмен идеями, формами искусства, религиями. Битва гремит, так сказать, на авансцене, но в то же время позади, за занавесом, идет мирное сотрудничество, которое тесно сплетает судьбы враждующих на авансцене народов. С каждым новым поколением духовная близость и сходство все увеличиваются. Говоря точнее и осторожнее: души французов, англичан и испанцев были, есть и будут различны, поскольку вам угодно; но они имеют одну и ту же психическую структуру и сверх того они постепенно все более сближаются. Религия, наука, право, искусство, принципы социальные и этические — всё это становится всё более общим достоянием. А ведь именно этими духовными ценностями люди и живут. Стало быть, однородность становится еще большей, чем если бы все души были по одному образцу.

Если бы мы подытожили наш духовный багаж — верования и нормы, желания и мнения, — то оказалось бы, что большая часть их обязана своим происхождением не нашему отечеству, но общеевропейскому фон-

ду. В каждом из нас европеец значительно преобладает над немцем, испанцем, французом. Если бы мы попытались представить себе, что мы должны жить только тем, что в нас есть «своего», «национального», если бы мы, например, захотели лишить среднего француза или немца всех тех привычек, мыслей, чувств, слов, которые он заимствовал от других народов, то мы были бы поражены, ибо оказалось бы, что такое существование просто невозможно: четыре пятых нашего внутреннего богатства является общеевропейским достоянием.

Мы, населяющие эту часть планеты, должны, наконец, выполнить то заключенное в слове *Европа* задание, к которому нас обязывает история последних четырех столетий. Этому препятствует только предрасудок старых «наций», идея нации, связанной своим прошлым. Нам предстоит показать, что европейцы происходят не от жены Лота и не собираются делать историю с головой, повернутой назад, в прошлое. Приведенный пример Рима и античного человека должен послужить нам предостережением: для определенного типа людей очень трудно расстаться с идеей государства, раз навсегда ими усвоенной. К счастью, идея «Государства-нации» — которую европеец сознательно или бессознательно принес в мир — вовсе не совпадает с той схоластической идеей государства, которую проповедывали «филологи».

Итак я резюмирую мой основной тезис. Наш мир переживает сейчас тяжкий моральный кризис, наиболее ярким симптомом которого является небывалое восстание масс, а причиной — моральное разложение Европы. Причины же разложения Европы сложны; одна из важнейших — утрата ею былой ее власти над самой собой и над всем миром. Сейчас Европа не чувствует себя вождем, а остальной мир не чувствует себя ведомым. Исторический суверенитет распался.

Нет больше и «полноты времён», ибо она предполагает ясное, predetermined, недвусмысленное будущее, какое имел перед собою 19 век. Тогда люди были уверены в завтрашнем дне. Но сегодня горизонт непрогляден, за ним скрывается неведомое, ибо никто не знает, кто будет править завтра, как будет распределена власть на земле.

Кто, это значит: какой народ или какая группа народов, то есть какой расовый тип? А следовательно: какая идеология, какая система ценностей, норм, жизненных импульсов?

Никто не знает, к какому центру будет тяготеть наша жизнь в ближайшем будущем; и потому в наши дни вся жизнь приобретает недостойный характер чего-то временного, преходящего. Всё, что происходит сейчас в общественной и частной жизни, вплоть до самого глубинного, интимного, (за исключением, частично, научной жизни) — всё несерьёзно и непостоянно. Сейчас нельзя верить тому, что заявляется, рекламируется, выставляется и расхваливается; всё это так же быстро исчезает, как и появляется; всё — начиная от мании спорта (я имею ввиду манию, но не самый спорт) до политического насилия, от «нового искусства» до солнечных ванн на модных пляжах. Все эти явления не имеют корней, это всё пустые выдумки в худшем смысле слова, то есть причуды и капризы. Это не творчество, которое всегда вытекает из глубинной сущности жизни; эти явления не вызваны внутренним импульсом, подлинной необходимостью. Одним словом — всё это фальшь. Этот новый стиль жизни на словах проповедует искренность, но на деле является обманщиком. Правда заключается только в такой жизни, все действия которой вызваны подлинной, неотвратимой необходимостью. Но сейчас ни один из политиков не ощущает этой необходимости своей политики. И чем экстравагантнее его поза, чем легкомы-

сленнее его политика, тем менее она оправдана исторической необходимостью. Только жизнь, укорененная в глубине, в почве, слагается из неизбежных событий, только она ощущает свои действия, как непреложную необходимость. Всё остальное: всё, что мы произвольно можем или сделать, или не сделать вовсе, или сделать по-иному — все это лишь фальсификация подлинной жизни.

Наше сегодняшнее бытие есть плод междуцарствия, вакуума между двумя историческими эпохами мирового господства: той, что была, и той, что придет. Поэтому оно по самой сути своей носит временный характер. Мужчины не знают, каким идеалам они в сущности служат; женщины — какой тип мужчин они должны предпочесть.

Европейцы не могут жить, если они не включены в исполнение великой общей задачи объединения. Если таковой нет, то они опускаются, становятся вульгарными; душа их расшатана. Начало такого периода сейчас у нас перед глазами. Государственные образования, которые до сих пор называются нациями, достигли своего наивысшего развития сто лет тому назад. Они дали уже всё, что могли, и теперь им остается лишь переход в новую, высшую стадию. Сейчас они уже только прошлое, облепившее Европу, они связывают и обременяют ее. Одаренные сегодня большей жизненной свободой, чем когда-либо, мы чувствуем, что внутри наших наций нечем дышать, всюду спертый тюремный воздух. Нации, бывшие раньше широким, открытым, проветриваемым простором, обратились теперь в душные провинции, в захолустья. В той будущей европейской «сверх-нации», которая рисуется нашим глазам, историческое многообразие Запада не может и не смеет исчезнуть. Античное государство уничтожало все различия между отдельными народами, или обезвреживало их, или, в лучшем случае, сохраняло их в муми-

фицированном виде; но национальная идея с ее динамикой требует сохранения того многообразия, которое всегда было характерным для жизни Запада.

Весь мир чувствует необходимость новых основ жизни. Некоторые — как это всегда бывает в подобных кризисах — пытаются спасти положение при помощи искусственного оживления тех самых, уже изжитых принципов, которые привели к кризису. Именно этим объясняются вспышки «национализма», имевшие место в последние годы. И это, повторяю, всегда так бывало: последняя вспышка — самая яркая; последний вздох — самый глубокий. Накануне своего упразднения границы становятся наиболее чувствительными, как военные, так и экономические.

Но все эти «национализмы» — лишь тупики. И все попытки пробить с помощью их путь в будущее — тщетны, ибо тупики никуда не ведут. Национализм всегда имеет направление, обратное тем силам, что творят государство: он стремится ограничить, исключить, тогда как те включают, принимают. В эпохи укрепления, консолидации государства национализм несомненно имеет положительную ценность и стоит на высоком уровне. Но сейчас в Европе укреплять больше нечего, всё и так слишком укреплено, и национализм является лишь манией, предлогом, чтобы увильнуть от своего долга — от нового творчества, нового, великого задания. Примитивность методов, которыми национализм оперирует, и тип людей, которых он вдохновляет, слишком ясно показывают, что он представляет собою прямую противоположность подлинному историческому творчеству.

Только решение создать из народов Европы новую великую сверх-нацию могло бы возродить Европу. Она снова обрела бы веру в себя, ее пульс автоматически оживился бы, она взяла бы себя в руки и дисциплина была бы восстановлена.

Но положение гораздо опаснее, чем обычно думают. Годы уходят, и возникает опасность, что европеец привыкнет к тому сниженному тону жизни, какой сейчас установился, что он разучится править и прежде всего управлять самим собой. Если это случится, то его достоинства и способности скоро улетучатся.

Единству Европы противятся — как и всегда бывает при процессе образования нации — консервативные классы. Это может кончиться их гибелью; ибо к главной опасности — что Европа окончательно потеряет свою духовную силу и свою историческую энергию, — присоединяется еще другая, более конкретная и грозная. Когда коммунизм победил в России, многие думали, что красный поток зальет всю Европу. Я был другого мнения. Наоборот, я писал в те годы, что для Европейца, который все свои усилия и всю свою веру поставил на карту личности, русский коммунизм неприемлем. Прошло некоторое время и те, кто тогда опасался, успокоились — как раз в тот момент, когда следовало бы серьезно обеспокоиться. Ибо именно теперь коммунизм мог бы с неудержимым успехом разлиться по Европе.

Я попрежнему держусь мнения, что коммунистическая вера по русскому рецепту не может интересовать и привлекать европейцев, ибо она не сулит им заведомого будущего. И это вовсе не в силу тех причин, которые обычно приводят апостолы коммунизма, твердолобые, глухие и далекие от истины.

Европейский «буржуа» очень хорошо знает, что дни «рантье» — человека, который живет без труда и забот благодаря своей ренте и завещает ее сыновьям — сочтены и без коммунизма. Не это восстанавливает Европу против «русской веры». И еще менее страх; произвольные предположения, на которых двадцать лет тому назад Сорель обосновал свою «Тактику на-

силия», сейчас нам кажутся смешными. Буржуа вовсе не трус, как думал Сорель; наоборот, сейчас он гораздо больше склонен к насилию, чем рабочий. Нет никакого сомнения, что большевизм восторжествовал в России только потому, что там не было буржуазии.*) Фашизм, который является мелко-буржуазным движением, показал себя гораздо более воинственным, чем все рабочие движения. Вовсе не это препятствует европейцу броситься в объятия коммунизма, но гораздо более простая и основательная причина: он не видит в коммунистической организации никаких предпосылок для человеческого счастья.

И тем не менее, повторяю, мне кажется вполне возможным, что в ближайшие годы Европа будет очарована большевизмом.

Представим себе, что «пятилетки», которые с геркулесовскими усилиями проводит советское правительство, оправдают ожидания и экономическое положение России будет не только восстановлено, но и улучшено. Каково бы ни было содержание большевизма, но он во всяком случае представляет собою гигантский эксперимент. Люди решительно взялись за проведение гигантского плана реформ и во имя своей веры подчинили себя суровой дисциплине. Если судьба, неумолимая и холодная к человеческому воодушевлению, не допустит полного крушения этого опыта, если она хоть немного даст ему свободы действия, то большевизм неизбежно поднимется над Европой, как новое сияющее светило. Если Европа тем временем останется в своем жалком состоянии последних лет, с нервами и мускулами, расслабленными недостатком дисциплины, без нового жизненного плана, — как сможет она уберечься от заразы торжествующего коммуниз-

*) Этого одного достаточно, чтобы убедиться раз и навсегда, что марксизм и большевизм — два разные исторические явления, которые не имеют между собою почти ничего общего.

ма? Можно ли надеяться, что европеец, не имея собственного плана, или знамени, сможет успешно сопротивляться этому призыву к новой цели и не загореться при этом? Ради того, чтобы послужить идее, вносящей смысл в его пустую жизнь, он может быть подавить свои возражения против коммунизма и позволит увлечь себя, если не содержанием учения, то по крайней мере его воздушевлением, экстазом.

Преобразование Европы в единое континентальное государство является, по моему мнению, единственной мерой, которая могла бы уравновесить победоносные «пятилетки».

Политики и экономисты уверяют нас, что эта победа имеет мало шансов на осуществление. Но было бы слишком унижительно, если бы антикоммунизм видел свое спасение лишь в материальных затруднениях своего противника. Ведь крушение коммунизма было бы тогда равносильно полному крушению современного человека. Коммунизм имеет крайне своеобразный моральный кодекс и тем не менее это всё же кодекс. Не было ли бы достойнее и полезнее противопоставить этой морали коммунизма — новую западную мораль, как призыв к новой жизненной программе?

XV. МЫ ПОДХОДИМ К СУТИ ПРОБЛЕМЫ

Итак, суть в том, что Европа осталась без морального кодекса. «Человек-массы» отбросил устаревшие заповеди вовсе не с тем, чтобы заменить их новыми, лучшими; нет, в центре его жизненных правил стоит лозунг: жить, не подчиняясь никаким моральным заповедям. Не верьте словам молодежи, когда она говорит о какой-то «новой морали». Сейчас во всей Европе не найдется группы людей «нового стиля», признающих какие-либо заповеди морали. Те, что говорят о «новой морали», тем самым совершают новый грех, так как пытаются тайком просунуть контрабанду.

Поэтому было бы просто наивностью упрекать современного человека в отсутствии морального кодекса: этот упрек оставил бы его равнодушным или может быть даже польстил бы ему. Отрицание морали вошло в моду и каждый щеголяет этим.

Если оставить в стороне, как мы делали до сих пор, те элементы, которые являются пережитком прошлого — христиан, идеалистов, старых либералов — то среди всех представителей нашей эпохи не найдется ни одной группы, отношение которой к жизни не сводилось бы к тому, что она присваивает себе все права и не признает никаких обязанностей. Безразлично, называют ли себя люди революционерами или реакционерами, но, как только доходит до дела, они решительно отвергают все обязанности и чувствуют себя — без всяких к тому оправданий — обладателями неограниченных прав. Чем бы они ни были воодушевлены, за

какое бы дело они ни взялись — результат один и тот же: под любым предлогом они отказываются подчиняться. Человек, играющий реакционера, антилиберала, будет утверждать, что задача спасения государства и нации освобождает его от всяких норм и запретов и дает ему право истреблять своих ближних, в особенности, если эти ближние — выдающиеся личности. И точно так же ведет себя и «революционер». Когда он распинается за трудящихся, за угнетенных, за социальную справедливость, то это лишь маска, предлог, чтобы избавиться от всех обязанностей, как вежливость, правдивость, уважение к старшим и высшим. Люди подчас вступают в рабочие организации лишь затем, чтобы приобрести право презирать духовные ценности и отказывать им в должном признании. Мы видим, как диктатуры заигрывают с людьми массы и льстят им, попирая всё, выдающееся над средним уровнем.

Это бегство от всяких обязанностей частично объясняет и то явление — смехотворное и в то же время постыдное, — что наша эпоха выдвинула платформу молодежи «как таковой». Этот факт является быть может наиболее нелепым и уродливым порождением нашего времени. Взрослые люди называют себя молодежью, так как они слышали, что молодежь имеет больше прав, чем обязанностей, так как она может отложить выполнение обязанностей на неопределенное время, когда она «созреет». Молодежь, как таковая, всегда считалась свободной от обязанности делать что-то серьезное, она всегда жила в кредит. Это было своего рода неписаное право, полуироническое, полуласковое, снисходительно предоставляемое зрелыми людьми молодежи. Но сейчас поразительно то, что в наши дни это право заявляется молодежью всерьез с тем, чтобы вслед за этим требовать себе все остальные права, подходящие только тем, кто уже нечто совершил и создал.

Дело дошло до невероятного: молодость стала предметом спекуляции, шантажа. Мы действительно живем в эпоху всеобщего шантажа, который принимает две взаимно дополняющие формы: шантаж при помощи угрозы или насилия и шантаж путем высмеивания и издевательства. Оба преследуют одну и ту же цель: чтобы посредственностью, человек толпы мог чувствовать себя освобожденным от всякого подчинения высшему.

Не следует поэтому идеализировать нынешний кризис, изображая его, как борьбу между двумя кодексами морали или между двумя цивилизациями — упадочной и нарождающейся. Человек-массы просто обходится без всякой морали; ибо всякая мораль, в основе своей, есть чувство своей подчиненности чему-то, сознание служения и долга. Но, может быть, слово «просто» здесь неуместно. Ибо дело не только в том, что это существо обходится без морали, дело гораздо сложнее. Освободиться от морали не так-то просто. То, что обозначается словом «аморальный» — словом, неверным уже грамматически — в действительности не существует. Кто отвергает все нормы, тот неминуемо отрицает и самую мораль, идет против нее; это уже не аморально, а антиморально, не безнравственно, а протинравственно. Это — отрицательная, негативная мораль, занявшая место истинной, положительной.

Как возможно было поверить в аморальность жизни? Без сомнения только потому, что вся современная культура и цивилизация приводят к этому убеждению. Европа сейчас пожинает ядовитые плоды своего духовного перерождения. Она слепо приняла культуру — поверхностно блестящую, но не имеющую корней.

Эта книга является попыткой набросать портрет определенного типа европейского человека, главным образом его отношения к той самой цивилизации, ко-

торая его породила. Это было необходимо потому, что этот тип не является представителем какой-то новой цивилизации, борющейся с предшествующей; он знаменует собою голое отрицание, за которым кроется в действительности п а р а з и т и з м. Человек массы живет за счет того самого, что он отрицает, и что другие до него создавали и накапливали. Поэтому его духовный портрет нельзя смешивать с основным вопросом: каковы те коренные недостатки, от которых страдает современная европейская культура? Ибо несомненно, что в конце концов тип человека, господствующего в наши дни, порожден именно этими недостатками.

Но этот основной вопрос выходит за рамки настоящей книги. Его рассмотрение потребовало бы развернуть во всей полноте ту доктрину человеческого существования, которая здесь была вплетена только как сопровождающий мотив, едва намечена, чуть слышна. Быть может, в скором времени эта тема зазвучит с полной силой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие переводчика	7
Вместо предисловия	11
I. Факт переполнения	13
II. Подъем исторического уровня	22
III. Уровень эпохи	31
IV. Рост жизни	41
V. Статистический факт	50
VI. Анализ человека-массы	57
VII. Благородная жизнь и вульгарная жизнь или энергия и косность	64
VIII. Почему массы во всё вмешиваются и всегда с насилием?	72
IX. Примитивизм и техника	82
X. Примитивизм и история	92
XI. Эпоха самодовольства	101
XII. Варварство «специализации»	111
XIII. Величайшая опасность — государство . . .	119
XIV. Кто правит миром?	129
XV. Мы подходим к сути проблемы	194

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.

